

Роман глущенко



Пятая карусель

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Роман Глущенко

Пятая карусель

«Автор»

2026

Глущенко Р.

Пятая карусель / Р. Глущенко — «Автор», 2026

Эдвинас Пятс — мелкий детектив из Браунсвилла, который уже десять лет пытается не утонуть в собственной рутине. Ему сорок, у него нет ни семьи, ни денег, ни иллюзий: только тесный кабинет, дешёвая квартира и работа, которой едва хватает на еду. Всё меняется в тот день, когда на пороге появляется загадочный мистер Райли и поручает найти пять предметов, последний из которых — таинственная пятая карусель. В погоне за деньгами Эдвинас не сразу понимает: каждый найденный предмет — ответ на вопрос, который он боялся задать себе всю жизнь. Почему он один? Почему всё идёт наперекосяк? И что на самом деле скрывается за этой каруселью? На помощь приходит японская официантка Саика Такимота, которая видит то, чего не замечает сам Эдвинас: у него ещё есть шанс вырваться из бесконечного круговорота. Но хватит ли у него смелости сделать этот шаг?

© Глущенко Р., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Жизнь это карусель.	5
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Пятая карусель

Жизнь это карусель.

Жизнь — это карусель, где каждый из нас в разные моменты времени оказывается на разных её виражах. Мы кружимся, не понимая, что ждёт нас за следующим поворотом, и лишь изредка осознаём истинный смысл происходящего. Эдвинас Пянас — человек, чья судьба полна неожиданных поворотов. В молодости он был полон энергии и амбиций, но с годами его взгляд на мир изменился. Каждый из нас, подобно слону, имеет свои четыре опоры — ноги, которые несут нас вперёд, и свой уникальный путь. Но есть нечто большее, что определяет наш жизненный маршрут. — символ всех наших испытаний и откровений, радостей и горестей, которые сплетаются в единую картину нашего существования. История Эдвинаса — это рассказ о том, как важно вовремя осознать истинный смысл жизни и принять её такой, какая она есть, со всеми её неожиданными поворотами и неизбежными ударами судьбы. Добро пожаловать в путешествие, где каждый найдёт свой ответ на главный вопрос: что же такое эта загадочная пятая карусель.

10 лет в Америке мысли эдвинаса.

Дождь хлестал по окнам участка так, будто кто-то там, наверху, выжимал грязную тряпку над этим городом. Эдвинас Пянас сидел на жёстком стуле, смотрел на чашку остывшего кофе и думал, что даже плесень на её стенках выглядит живее него. Десять лет в Америке, и вот он — сорокалетний эстонец с акцентом, который в отделе все до сих пор путают с литовцем, мелкий детектив в полицейской системе, где его дело — разбирать мусор: пропавшие кошельки, угнанные велосипеды, старушек, которые клянутся, что соседка подменила им кота. Он приехал сюда с чемоданом, в котором лежали три рубашки, потрёпанный словарь английского и надежда, что в Штатах жизнь сама собой встанет на рельсы. Но рельсы оказались ржавыми, а поезд так и не пришёл. Квартира на окраине пахла сыростью и чужим прошлым — там, в углах, будто до сих пор висели тени прежних жильцов, таких же неудачников. Платить хватало ровно на аренду и на еду, которая не требовала фантазии: лапша, хлеб, дешёвое мясо, которое лучше не разглядывать при ярком свете. Сегодняшний день был как все остальные: серый, липкий, с привкусом разочарования. Его вызвали на вызов — какой-то бродяга разбил витрину в круглосуточном магазине. Пока Эдвинас заполнял протокол, бродяга смотрел на него с такой усталой насмешкой, будто знал что-то важное про жизнь, чего Эдвинасу не расскажут ни в академии, ни на курсах повышения квалификации. «Ты тоже тут просто время тянешь, да?» — пробормотал бродяга, пока на него надевали наручники. И Эдвинас не нашёл, что возразить.

Все бессмысленно.

Вечером он шёл домой по улицам, где фонари горели через один, и чувствовал, как город высасывает из него остатки сил. В баре на углу его уже знали. Бармен, лысый мужик с вечной щетиной, молча ставил перед ним стакан, будто это был не алкоголь, а лекарство от бессмысленности. Эдвинас пил, не чувствуя вкуса, и смотрел, как капли конденсата стекают по стеклу, словно слёзы, которым лень падать. В какой-то момент время перестало иметь значение. Часы на стене бара показывали то ли девять, то ли полдвенадцатого — какая разница? Мир сузился до размера стакана, до тяжести в груди, до мысли, которая пришла не как озарение, а как тихая усталость: «А зачем?» Зачем вставать завтра, тащиться в участок, слушать жалобы людей, которые верят, что полиция может что-то исправить? Зачем вообще дышать, если каждый вдох — это просто ещё один шаг к неизбежному финалу? Ключ в замке квартиры проворачивался с усилием, как будто даже дверь не хотела его пускать. Внутри было темно и холодно, даже обогреватель не справлялся с этой вечной промозглостью. Эдвинас прошёл в комнату, сел на край кровати и уставился на ящик тумбочки. Там, под стопкой старых квитан-

ций и забытых писем, лежал пистолет — служебное оружие, которое он должен был хранить по правилам, но сейчас оно казалось единственным честным ответом на все вопросы. Он открыл ящик, достал пистолет, повертел его в руках. Металл был холодным, тяжёлым, настоящим — в отличие от всего остального в его жизни. Пальцы легли на спусковой крючок почти машинально, будто тело знало, что делать, даже если разум уже сдался. В голове крутилась одна фраза, простая и страшная: «Всё. Хватит». И в этот момент за окном снова ударил ливень — резко, яростно, как будто сам город кричал: «Не надо». Эдвинас замер, сжимая пистолет, и вдруг услышал собственный выдох — долгий, рваный, будто он только сейчас вспомнил, как дышать. Он медленно опустил руку, положил оружие на тумбочку и уронил голову в ладони. Слезы, если они и были, смешивались с усталостью и не имели ни вкуса, ни смысла. «Завтра будет такой же день», — подумал он, и эта мысль была одновременно проклятием и крошечным якорем, который не давал ему сорваться в пустоту прямо сейчас. Завтра он снова встанет, наденет старую куртку, пойдёт в участок и будет делать свою маленькую, никому не нужную работу. Потому что, возможно, в этом и был какой-то смысл — не спасать мир, а просто не дать ему стать ещё хуже, хотя бы на один день.

Браунсвилл полицейский участок.

Полицейский участок в Браунсвилле был местом, где время словно остановилось. Стены обшарпаны, краска облупилась, а запах пота и дешёвого кофе витал в воздухе, смешиваясь с дымом от бесконечных сигарет. Эдвинас занимал место за старым столом в дальнем углу, рядом с окном, которое никогда не мыли. За ним — продавленный стул, который, казалось, помнил всех предыдущих обитателей этого кабинета. Каждый день начинался одинаково: будильник в пять утра, чашка растворимого кофе, сигарета прямо на рабочем месте. На столе — гора однообразных документов: отчёты о пропажах кошельков, найденные велосипеды, жалобы на шумных соседей. Эдвинас копался в этих бумажках, изредка делая пометки карандашом, который давно пора было заменить. Его работа — это рутина без конца. Он не мелкий детектив в классическом понимании. Скорее, он тот, кто разбирает мусор, оставшийся после настоящих расследований. Убийства, грабежи — это не его уровень. Его задача — собрать показания, оформить бумаги и отправить дело в архив. Однажды в участок ввалился мужик с перегаром и безумными глазами. Кричал что-то о заговоре, показывал какие-то бумажки. Эдвинас даже не сразу понял, что это его сосед по этажу. Тот самый, который вечно орал по ночам и вонял перегаром. — Они следят за мной! — орал мужик. — Я знаю, что следят! Эдвинас вздохнул, достал протокол, начал заполнять. Мужик постепенно успокоился, сел на стул напротив. — А ты не такой, как остальные... — вдруг сказал он. — Не строишь из себя большого копа. Эдвинас промолчал. Просто продолжал писать, изредка поглядывая на соседа. Через неделю мужик пропал. А Эдвинас продолжал сидеть в своём кабинете, курить сигареты и потихонечку прикладываться к фляжке, которую прятал в ящике стола. Дождь за окном становился всё более серым, дни сливались в один бесконечный день. Но в один из таких дождливых дней, когда даже крысы в подвале прятались от ливня, в участок вбежала девушка. Молодая, грязная, с безумным взглядом. Она кричала что-то о пропавшем брате, о том, что его похитили прямо из подъезда. Эдвинас впервые за долгое время почувствовал что-то кроме скуки и безразличия. Дело было не просто очередным. В нём была надежда. Надежда на то, что хоть раз в этой серой жизни что-то изменится. И пусть это дело тоже закончится ничем. Но впервые за долгое время Эдвинас почувствовал, что он не просто винтик в этой системе. Что он может что-то изменить. Пусть даже это «что-то» — всего лишь ещё одно дело в папке с надписью «Раскрыто». Дверь в кабинет полковника Брауна была закрыта, но не заперта — как и всегда. В участке знали: если Артур Браун сидит за своим столом, дверь должна быть открыта, чтобы каждый проходящий мимо чувствовал его власть, его присутствие, его тяжёлый, пропитанный виски и сигарами авторитет. Эдвинас уже тянулся к ручке, когда изнутри донёсся низкий, густой голос: — Да, да, входи, Пятас. Не стой там, будто ждёшь благословения. Эдвинас вошёл.

В кабинете было душно, как в парилке. На столе — полупустой стакан с янтарной жидкостью, рядом — пепельница, переполненная окурками сигар. Сам полковник сидел, откинувшись в кресле, которое явно было куплено не в отделе для полицейских участков, а где-то в мебельном салоне для людей, которые привыкли, чтобы всё вокруг говорило об их статусе. На нём был костюм, который стоил больше, чем Эдвинас зарабатывал за месяц. — Ты хотел поговорить? — Браун не смотрел на него, крутил в пальцах сигару, будто раздумывал, стоит ли её снова раскуривать. — У меня мало времени. У меня всегда мало времени на то, что не приносит результатов. Эдвинас сглотнул. Он знал, что сейчас лучше говорить коротко, но слова застре-вали в горле, смешиваясь с горечью сигарет и унижения. Тут дело... девушка приходила. Про-пала её брат. Прямо из подъезда. Соседи слышали крики. Я думаю, надо заняться этим. Браун наконец поднял глаза. Взгляд у него был тяжёлый, как мокрый бетон. Он медленно выдохнул дым, и тот поплыл между ними, словно ещё одна преграда. — Ты думаешь? — голос Брауна стал тише, и от этого звучал ещё опаснее. — Ты, Пятс, думаешь? А я плачу тебе не за то, чтобы ты думал. Я плачу тебе за то, чтобы ты заполнял бумаги, чтобы разбирал жалобы старушек, чтобы возвращал велосипеды, которые подростки берут покататься и бросают в канаве. Это твоя работа. Твоя, понимаешь? Не расследования. Не драмы. Бумажки. Он резко наклонился вперёд, и кресло под ним скрипнуло. — Ты никчёмный кусок дерьма, Пятс. И твоя единствен-ная ценность в этом участке в том, что ты берёшь эти дела, которые никто другой не хочет. Потому что они грязные, мелкие и вонючие. Как и ты. Слова ударили, как пощёчины, одна за другой. Эдвинас почувствовал, как внутри всё сжимается, но он не опустил глаз. Не потому что был смелым — просто опускать их было некуда: взгляд всё равно упирался бы в этот доро-гой стол, в этот стакан, в эту пепельницу, в эту жизнь, которая так сильно отличалась от его собственной. Но это настоящее дело, — упрямо повторил он. — Парень пропал. Девушка пла-чет. Браун рассмеялся — коротко, без веселья. — Плачет? Конечно, плачет. Они все плачут. Но ты не герой из кино, Пятс. Ты не будешь никого спасать. Ты будешь делать то, что тебе говорят. А тебе говорят: разбирай бумажки. С этими словами он схватил со стола папку — тол-стую, потрёпанную, с наклейкой «Пропажи/мелкие кражи» — и швырнул её через стол. Папка упала на пол, раскрывшись, и из неё высыпались листы — отчёты, заявления, фотографии украденных вещей. Вот твоё дело, Пятс. Старушки, велосипеды, кошельки, забытые зонты. Это твой уровень. Это всё, на что ты способен. Он снова откинулся в кресле, взял стакан, сде-лал большой глоток и уставился в окно, будто Эдвинаса уже не было в комнате. — Пошёл вон с глаз моих. И чтобы до конца смены все эти бумаги были разобраны. Иначе я найду того, кто будет делать это вместо тебя. Даже если придётся взять с улицы первого встречного — он будет полезнее, чем ты. Эдвинас стоял ещё секунду, чувствуя, как кровь стучит в висках, как пальцы сжимаются в кулаки, а потом наклонился, собрал рассыпавшиеся листы, сложил их обратно в папку. Пальцы дрожали, но он старался делать всё ровно, аккуратно — будто если он сделает это идеально, Браун вдруг поймёт, что он не просто мусорщик, не просто человек, который разбирает чужие мелкие беды. Дверь за ним закрылась с тихим щелчком, но в коридоре всё ещё витал запах сигар и виски, и этот запах преследовал его, пока он шёл к своему столу.

Желание доказать.

Он сел на продавленный стул, положил папку перед собой и уставился на неё, будто она была живым существом, которое насмехалось над ним. Потом достал из ящика стола фляжку, открыл крышку, сделал глоток — не для храбрости, а чтобы заглушить этот вкус унижения, который оседал на языке. И вдруг он увидел среди бумаг то, что раньше не замечал: маленькую фотографию. На ней был парень — молодой, с улыбкой, которая казалась слишком яркой для этого района. Рядом — записка: «Пропал 3 дня назад. Видели у магазина на углу». Эдвинас замер. Его пальцы снова дрогнули, но теперь не от злости, а от чего-то другого — от того самого чувства, которое он так долго пытался заглушить: от надежды, что, может быть, хоть раз он сможет сделать что-то важное. Он посмотрел на дверь кабинета Брауна,

потом снова на фотографию. И тихо, почти шёпотом, сказал: Ладно. Пусть ты думаешь, что я мусорщик. Но этот парень — не мусор. Он спрятал фотографию в карман, закрыл папку и, не глядя на часы, поднялся из-за стола. Сегодня он не будет разбирать бумаги. Сегодня он пойдёт туда, где пропал этот парень. Даже если Браун узнает и уволит его — пусть. Пусть это будет его последний день в полиции, но он хотя бы попытается. Дождь за окном не прекращался. Он стучал по крышам, по асфальту, по стёклам, будто пытался что-то сказать. И Эдвинас, накинув старую куртку, вышел в эту серую, мокрую ночь, чувствуя, как холод пробирается под одежду, а внутри разгорается что-то, что давно там не горело — искра, слабая, неуверенная, но настоящая. Дождь не утихал — он просто стал тише, будто даже небо устало от собственной ярости. Эдвинас брёл по улице, сгорбившись так, что казалось, асфальт тянет его вниз. В голове крутились слова Брауна: «Ты мусорщик. Ты никто». И самое паршивое — в какой-то момент Эдвинас сам с этим согласился. Просто шёл и кивал своим мыслям, будто вёл разговор с невидимым собеседником: «Да, ты прав, Артур. Я пешка. Винтик. Тот, кто нужен, чтобы заполнять пробелы в отчётах, чтобы забирать у мира его мусор и делать вид, что это работа». В кармане лежало сто двадцать долларов — всё, что осталось от зарплаты. И эти деньги уже не ощущались как спасение, а скорее как насмешка: хватит на еду, если сильно экономить, или на пару вечеров в баре, если совсем перестать думать. Он выбрал бар. Внутри пахло пролитым пивом, старыми сигаретами и отчаянием — запахом, который в Браунсвилле был почти родным. Бармен, тот самый лысый мужик с вечной щетиной, даже не спросил, что налить. Просто поставил стакан, потом ещё один, потом ещё. Эдвинас не считал. Он смотрел, как янтарная жидкость исчезает, и думал, что, может, если выпить достаточно, эти мысли перестанут царапать изнутри. Не перестали. Наоборот — стали громче, злее, безжалостнее. «Хуже быть не может», — повторял он про себя, как мантру, пока ноги не перестали слушаться, а мир не начал расплываться по краям. До квартиры он добирался, цепляясь за стены, фонарные столбы, за всё, что могло удержать его на ногах. Дождь уже не казался дождём — скорее серой пеленой, сквозь которую он пробирался, как сквозь чужой, враждебный сон. А у двери его ждал мистер Скалински. Старик стоял, сгорбившись под своим зонтом, в старом пальто, которое, казалось, пережило не одну эпоху. Его лицо было морщинистым, жёстким, будто высеченным из камня, а глаза — холодными, как вода в сточной канаве. — Квартплата, Пятс, — голос у него был скрипучий, как несмазанные петли. — Сегодня. Не завтра. Сегодня. Эдвинас попытался что-то сказать, но слова слиплись, превратились в бессвязный шум. Он шарил в кармане, вытаскивая смятые купюры — восемьдесят долларов. Швырнул их в сторону старика, почти не целясь. Вот. Возьми. Больше нет. Скалински наклонился, подобрал деньги, пересчитал, и его лицо исказилось в гримасе, которая была смесью злости и презрения. Здесь не хватает. Ещё сто двадцать. Ты знаешь правила, Пятс. Я не благотворительность. И тут что-то внутри Эдвинаса щёлкнуло. Не ярость — нет, это было хуже. Это была та самая пустота, которая наконец-то переполнилась и выплеснулась наружу. Он достал пистолет. Не чтобы выстрелить — он даже не думал об этом. Просто чтобы заставить старика замолчать. Чтобы хоть на секунду мир перестал давить. Я отдам тебе всё до копейки, — голос Эдвинаса звучал хрипло, надломленно, но в нём была странная, пугающая твёрдость. — Но сейчас оставь меня в покое. Просто уйди. Старик замер. Его глаза расширились, руки дрогнули, и он попятился, не сводя взгляда с оружия. Потом медленно наклонился, поднял деньги и, не говоря ни слова, развернулся и ушёл, оставив Эдвинаса одного стоять у двери, сжимая в руке пистолет, который вдруг стал тяжелее всего мира. Квартира встретила его тишиной, которая была ещё громче любого крика. Он захлопнул дверь, прислонился к ней спиной, будто она могла удержать его от падения. Потом прошёл на кухню, достал из холодильника то, что там было: старые макароны, сосиски, банку бобов и банку огурцов. Еда выглядела так, будто сама сдалась много лет назад. Он не стал ничего разогревать. Просто открыл банку, достал ложку и начал есть, не чувствуя вкуса. Потом

достал бутылку виски — ту самую, которую прятал для особых случаев. Сегодня случай был особенный: день, когда он окончательно убедился, что его жизнь — это просто дерьмо, которое никто не хочет убирать. Виски жёг горло, но это было хоть какое-то чувство. Хоть что-то настоящее. Он пил, глядя в одну точку, пока комната не начала кружиться, а мысли не растворились в этой серой пустоте. И в какой-то момент он просто уронил бутылку, сполз по стене на пол и закрыл глаза. Мир исчез. Осталась только тишина, тяжёлая, как мокрый бетон. Хельга Утро ударило по голове не светом, а тяжестью — тупой, раскалённой, будто кто-то приложил к вискам два мокрых кирпича. Эдвинас открыл глаза и сразу пожалел об этом: комната была серой, как пепел, и пахла вчерашним отчаянием. Он сел на край кровати, свесил ноги и замер, прислушиваясь к себе — не к мыслям, их он старался не слышать, а к телу: как оно скрипит, как ноет, как напоминает, что оно ещё живо, хоть и не очень этому радо. Бриться пришлось почти на ощупь — рука дрожала, лезвие царапало кожу, и в зеркале над раковиной он видел не себя, а какого-то чужого, потрёпанного человека с глазами, в которых давно погас свет. Умылся ледяной водой — она обожгла, но хоть немного вернула ощущение реальности. Первая сигарета пошла тяжело, с кашлем, но за ней тут же потянулась вторая, третья — будто он пытался выкурить из себя остатки вчерашнего кошмара. На кухне нашёлся только старый кофе, горький и остывший, и бутылка виски — та самая, из которой он пил до потери сознания. Он допил остатки прямо из горлышка, поморщился, потом аккуратно перелил то, что осталось, в фляжку и спрятал её в карман куртки. Это был не план — это был рефлекс, способ хоть как-то подготовиться к дню, который уже обещал быть таким же серым, как небо над Браунсвиллом. Туфли были мокрыми насквозь — он и не заметил, как прошлёпал по лужам вчера, не чувствуя ни холода, ни усталости. Теперь они хлюпали при каждом шаге, а носок на правой ноге торчал рваной дыркой, будто сам ботинок сдался раньше него. Папка с документами лежала на столе — потрёпанная, набитая бумажками, которые никто не хотел читать. Он взял её, как берут тяжёлый груз, который нельзя бросить, потому что тогда он станет ещё тяжелее. По дороге в участок дождь не лил — он просто висел в воздухе, мелкой водяной пылью, оседая на плечах, на волосах, на ресницах. Эдвинас шёл, опустив голову, и думал только об одном: нужны деньги. Не для мечты, не для планов — просто чтобы заплатить Скалински, купить еды, чтобы не чувствовать этот постоянный, грызущий голод, который был не только в желудке, но и где-то глубже. И вдруг, среди этой серой рутины, память щёлкнула, как старая плёнка, и перед глазами всплыло другое небо — не серое, а розовое, с прожилками заката, и море — не грязное, как в гавани НьюЙорка, а чистое, холодное, пахнущее солью и ветром. Эстония. Деревня. Дом с покосившейся крышей, где пахло хлебом и сухими травами. Бабушка Клавдия, которая ворчала, но всегда оставляла ему кусок пирога. И Хельга — Хельга Киивер, с волосами, развевающимися на ветру, с улыбкой, от которой становилось светлее даже в самый пасмурный день. Он вспомнил, как играл на гитаре — неуклюже, но с такой страстью, будто от этого зависела его жизнь. Как мечтал стать рокмузыкантом, как представлял, как выйдет на сцену, и весь зал будет петь вместе с ним. Как летом они с Хельгой ездили в Таллин, сидели на пирсе, смотрели, как солнце тонет в Балтийском море, и верили, что впереди — целая жизнь, полная света и музыки. А потом был тот вечер. Тот самый, когда Хельга не вышла к нему. Когда кто-то позвонил, и голос в трубке был чужим, сухим, будто читал заученный текст: «ДТП. Сожалеем». Ему было семнадцать. Мир рухнул не с грохотом, а с тихим, страшным щелчком, и с тех пор Эдвинас будто шёл по жизни, прикрывая уши руками, чтобы не слышать эту тишину. После этого всё пошло както само собой: школа, полицейская академия, решение уехать — подальше от воспоминаний, от мест, где каждый угол напоминал о Хельге. В двадцать девять он покинул Эстонию, и возвращаться было больно: казалось, что каждый дом, каждая улица будет шептать ему: «Ты всё потерял. Ты не смог её уберечь». И вот теперь он здесь — в Браунсвилле, в районе, где серый цвет стал нормой, где дождь не прекращается, а жизнь течёт мимо, не задевая. Идя по тротуару, он прошептал, почти не слыша

собственного голоса: Я бы продал душу дьяволу, чтобы вернуться туда. Чтобы всё изменить. Чтобы понять, что я сделал не так. Я ведь не пил, не курил, не тусил, как остальные. Я просто хотел жить, любить, играть на гитаре... и потерял единственное, что имело значение. Фраза повисла в воздухе, смешалась с дождём и исчезла, будто её и не было. Но внутри она осталась — горькая, тяжёлая, как камень. Участок встретил его привычным шумом: кто-то кричал, кто-то стучал по клавиатуре, телефон надрывался, как раненый зверь. Эдвинас прошёл к своему столу, сел на продавленный стул, положил папку перед собой и на секунду закрыл глаза. Он повторял про себя, как заклинание: «Отдал бы душу дьяволу, чтобы найти ответы. Хоть как-нибудь». Но ответов не было. Только бумаги, только серые дни, только бесконечное «разбери, оформи, отправь в архив». И где-то в глубине души он понимал: дьявол, если он и существует, вряд ли интересуется историями мелких детективов из Браунсвилла. Эдвинас сидел, сжимая в пальцах стаканчик с виски, который он наливал из фляжки в пустую кофейную чашку — старая хитрость, чтобы в участке не замечали. Дым от сигареты вился над папкой, страницы которой он листал без всякого смысла: фамилии, адреса, даты — всё сливалось в одну серую кашу, как и вся его жизнь. Он смотрел на эти строчки и думал: «Вот она, моя судьба — разбирать чужой мусор. Бумажки, бумажки, бумажки...» А в голове всё крутилось одно и то же: «Почему я? Почему всё пошло под откос? Я ведь ничего не делал плохого. Просто хотел жить. Просто хотел, чтобы Хельга была рядом...» Стук в дверь прозвучал так неожиданно, что Эдвинас вздрогнул, чуть не расплескав содержимое чашки. — Войдите, — буркнул он, думая, что это опять Браун пришёл наорать за что-нибудь, или уборщица, которая вечно косилась на его сигареты. Дверь приоткрылась, и в проёме возник силуэт — высокий, худощавый, будто вырезанный из тени. На мужчине был строгий костюм, поверх него — плащ, на голове — шляпа, в руке — трость. Он стоял так, будто позировал для старого чёрнобелого фильма. Эдвинас уставился на него, не понимая, кто это и что ему нужно в этом обшарпанном углу полицейского участка, где даже воздух пах унынием. — Что у вас? — спросил Эдвинас, скорее из вежливости, чем из интереса. — У нас тут не бюро находок, если вы что-то потеряли... Мужчина чуть склонил голову, будто оценивая его, и произнёс: — Вы не спросите моего имени, мистер Пятс? Эдвинас нахмурился. Он точно не представлялся этому человеку. — Кто вы? — спросил он, чувствуя, как внутри шевельнулось что-то вроде тревоги. — Меня зовут Альберт Райли. Можно просто мистер Райли, — голос у него был низкий, тягучий, с отчётливым английским акцентом. — У вас странный акцент, — не удержался Эдвинас. — Да, я из Англии, — спокойно ответил мистер Райли. — Но это не имеет никакого значения. У меня к вам есть очень выгодное предложение. Эдвинас хмыкнул. Выгодные предложения в его жизни случались редко, и обычно они оказывались ловушками. — Предложение? Ко мне? — переспросил он, не скрывая скепсиса. — Я тут бумажки перебираю. Моё дело — старушки да велосипеды. Мистер Райли едва заметно улыбнулся — не весело, а как человек, который знает что-то, недоступное другим. — Именно поэтому я к вам и пришёл, мистер Пятс. Мне нужен человек, который не бросается в глаза. Человек, который привык копаться в мелочах. Он сделал шаг вперёд, оперся на трость и продолжил: — Я хочу предложить вам договор. Провести расследование и вернуть мне пять вещей, которые я никак не могу найти. Одна из них — брошь в виде золотой стрекозы, покрытая изумрудами. Семейная реликвия. Ещё три вещи... они менее важны. Но самое главное — пятая вещь. Карусель. — Карусель? — Эдвинас даже выпрямился на своём продавленном стуле. — Вы хотите, чтобы я нашёл карусель? Тут, в Браунсвилле? Да тут и парка нормального нет, не то что карусели. — Карусель? — Эдвинас даже выпрямился на своём продавленном стуле. — Вы хотите, чтобы я нашёл карусель? Тут, в Браунсвилле? Да тут и парка нормального нет, не то что карусели. — Не обычную карусель, мистер Пятс, — терпеливо пояснил мистер Райли. — Это... особая вещь. Для меня она значит больше, чем все остальные вместе взятые. И я хочу, чтобы вы её нашли. — Почему я? — снова спросил Эдвинас, чувствуя, как в груди шевелится что-то странное — не надежда,

нет, скорее любопытство, смешанное с недоверием. — Я самый никчёмный неудачник в этом участке. Моё дело — бумажки. А тут найти вещи, да ещё и какую-то карусель... Мистер Райли рассмеялся — тихо, без злобы. — Возможно, именно поэтому вы и подходите. Никто не будет ждать от вас великих свершений. Никто не станет мешать. С этими словами он достал из кармана пачку денег — толстую, перетянутую резинкой. Положил её на стол перед Эдвином. — Двадцать пять тысяч долларов авансом. Остальное — после того, как найдёте стрекозу. И, мистер Пятс, если вы найдёте пятую карусель в течение двух месяцев, я заплачу вам ровно столько, сколько вы пожелаете. Эдвин смотрел на деньги, не веря своим глазам. Двадцать пять тысяч... Он столько не зарабатывал и за год. Пальцы сами потянулись к пачке, но он одёрнул руку, будто боялся, что она исчезнет, если он её коснётся. Это... очевидно странно, мистер Райли, — пробормотал он. — Такие деньги... Я не зарабатывал их и за год. — Деньги — это малость по сравнению с тем, чем я могу заплатить, — спокойно ответил Райли. — Да уж, малость... — Эдвин провёл рукой по лицу, пытаясь собраться с мыслями. — Цена не в деньгах, мистер Пятс. Найдите пятую карусель. И получите в сотни раз больше того, чего вам сейчас не хватает. Не только денег. Гораздо больше. Эдвин замер. В этих словах было что-то... не просто обещание богатства. Что-то большее. Что-то, что цепляло за самое больное. Мистер Райли положил на стол лист бумаги — простой, ничем не примечательный, но на нём были чётко прописаны условия: найти пять вещей, особое внимание уделить пятой — карусели. Срок — два месяца. Подпись — и аванс остаётся у Эдвина. — Ну же, мистер Пятс, — сказал Райли, уже направляясь к двери. — Время идёт. А карусель не ждёт. И он вышел, оставив после себя запах дорогого табака и ощущение, будто в эту серую комнату ворвался порыв ветра из другого мира. Эдвин сидел, глядя на пачку денег и лист бумаги. Его пальцы дрожали, но на этот раз не от похмелья и не от усталости. Это была дрожь предвкушения — или страха, он сам не знал. Он взял ручку, медленно вывел свою подпись на бумаге. И прошептал, будто самому себе не веря: — Ладно. Пусть это безумие. Пусть это ловушка. Но я попробую. Пачка денег лежала на столе, как чужеродный предмет — слишком чистая, слишком толстая для этого кабинета, пропахшего сигаретами и отчаянием. Эдвин провёл пальцем по краю купюр, будто проверял, настоящие ли они. Двадцать пять тысяч. На эти деньги можно было бы год снимать квартиру в Браунсвилле, есть нормальную еду, не считать каждый цент. Но он знал: если возьмёт их, обратного пути не будет. А потом он вспомнил — не про деньги, а про то, что сказал минуту назад, сам себе, в тишине, пока Райли ещё не ушёл: «Я бы продал душу дьяволу, чтобы найти ответы». И вот теперь ответы предлагали купить. Не за душу — пока за работу. Но в голосе Райли было что-то, от чего по спине бежали мурашки, не от холода, а от понимания: это не обычное дело. Он подписал бумагу. Не потому что поверил в удачу. А потому что сидеть дальше среди этих бумажек, вдыхая запах собственного поражения, было невыносимее, чем шагнуть в неизвестность. Первой вещью была брошь — золотая стрекоза, покрытая изумрудами. Райли дал ему адрес: старый ломбард в Квинсе, где хозяин любил играть в «я ничего не знаю», пока не увидит нужную сумму. Эдвин не стал торговаться. Он просто положил на стойку пятьсот долларов — почти всё, что оставалось от аванса, — и сказал: Стрекоза. Золотая. С изумрудами. Я знаю, она у тебя. Хозяин ломбарда, лысый мужик с татуировкой якоря на шее, долго смотрел на деньги, потом на Эдвина, потом медленно достал из сейфа бархатную коробочку. Странная штука, — пробормотал он, открывая крышку. — Принёс её один тип месяц назад. Сказал, что это не вещь, а воспоминание. И что оно его душит. Стрекоза лежала внутри, сверкая, как застывший свет. Эдвин взял её, и пальцы вдруг онемели. Не от холода металла, а от странного чувства — будто он держал не украшение, а чью-то жизнь. И тут его накрыло. Не воспоминание — вспышка. Хельга. Лето в Таллине. Она смеётся, ветер треплет её волосы, а на воротнике платья — маленькая брошка. Не такая богатая, не с изумрудами, а простая, серебряная, в виде стрекозы. Она купила её на блошином рынке, сказала: «Стрекозы — это свобода. Они не знают, куда летят, но всегда летят

вперёд». Эдвинас стоял посреди грязного ломбарда, сжимая в руке золотую стрекозу, и вдруг понял: он не отпустил Хельгу. Не тогда, когда она погибла. Не через год. Не через десять. Он носил её в себе, как эту брошь, — спрятанную, тяжёлую, сверкающую, но мёртвую. И пока он держал её, он не мог никого полюбить. Не потому что не хотел. А потому что место в сердце было занято. Слеза, горячая и неловкая, скатилась по щеке, и он быстро вытер её, будто кто-то мог увидеть. Спасибо, — буркнул он хозяину, сунул брошь в карман и вышел, не оглядываясь. На улице дождь наконец прекратился, но воздух был таким тяжёлым, что дышать было трудно. Эдвинас сел на мокрый бордюр, достал фляжку, сделал глоток, но на этот раз виски не обжог — он просто стал частью этой горечи. Я сам виноват», — подумал он. Не судьба, не город, не Браун, не проклятый Браунсвилл. А он сам. Он держал Хельгу так крепко, что не оставил места ни для кого другого. И вот почему он одинок. Вот почему его жизнь — это серые дни и мокрые туфли. Он сам запер себя в этом прошлом. Дождь наконец перестал, но улицы Браунсвилла не стали светлее — они просто сделались мокрыми и злыми, отражая тусклый свет фонарей, будто сами хотели выглядеть ещё мрачнее. Эдвинас шёл, сжимая в кармане коробочку со стрекозой, и чувствовал, как металл холодит пальцы. Но холод этот был почти приятным — как будто он держал в руке доказательство, что хоть что-то в этом мире ещё имеет вес. Он не думал о Хельге как о потерянной любви, которую нужно отпустить. Он думал о деньгах. Завтра он отнесёт эту штуку Райли, получит ещё двадцать пять тысяч — и тогда пусть Браун хоть лопнет от злости, пусть Скалински хоть на голову встанет — у Эдвинаса будут деньги. Впервые за долгие годы у него будет не просто возможность выжить, а возможность сказать этому городу: «Я не мусор. Я сам себе хозяин». Эта мысль грела лучше любого виски. Бар, в который он зашёл, был таким же, как и все остальные в этом районе: тёмный, прокуренный, с липким полом и барменом, который знал, что спрашивать «что будете?» — пустая трата времени. Эдвинас просто кивнул на бутылку, и перед ним тут же появился стакан. Потом ещё один. Потом он достал из кармана коробочку, открыл её, посмотрел на изумруды — те сверкнули тускло, по-змеиному, будто смеялись над ним. — За тебя, Хельга, — пробормотал он, поднимая стакан, и залпом выпил. — Прости, что не смог быть другим. Но сегодня я хотя бы могу не быть жалким. И в этот момент он действительно не чувствовал себя жалким. Он чувствовал себя... свободным. Пусть это была свобода пьяного человека, который держится за край стола, чтобы не упасть, — но она была настоящей. Он смеялся, когда вспоминал лицо Брауна, как тот швырял ему папку, как кричал, что он никчёмный. «А теперь у меня есть деньги, — думал Эдвинас, глядя в мутное зеркало за стойкой. — Теперь я сам решу, кто я». Следующие дни слились в один бесконечный, раскалённый вихрь. Эдвинас просыпался, когда солнце уже висело высоко, и сразу тянулся к бутылке. Потом шёл в бар, потом куда-то ещё, где можно было найти что-то посильнее, чем виски. Опиум пришёл незаметно — сначала как способ заглушить ту самую боль, которая царапала изнутри, когда он оставался один. Потом — как способ вообще ничего не чувствовать. В какой-то момент он понял, что забыл про остальные вещи: про записную книжку, про старые часы, про фотографию. «Да ладно, — бормотал он себе, закуривая очередную сигарету. — У меня ещё два месяца. Времени полно. Сейчас я просто... просто живу». И он действительно чувствовал, что живёт. Пусть это была жизнь на дне, в тумане, где лица людей становились размытыми, а слова — бессмысленными. Но он был в центре этого тумана, он был его королём. Он смеялся над теми, кто ходил на работу, кто считал копейки, кто боялся потерять квартиру. «Я свободен, — шептал он, вдыхая дым. — Я ничего не боюсь». Однажды утром он проснулся на полу своей квартиры, не помня, как туда добрался. В комнате пахло потом, дешёвым табаком и чем-то кислым. На столе лежала открытая коробочка — стрекоза смотрела на него своими изумрудными глазами, будто укоряла. Эдвинас поморщился, закрыл её, спрятал в ящик и пошёл на кухню, где в холодильнике стояла последняя бутылка. Сегодня я отнесу её Райли, — подумал он. — Получу деньги. А потом... потом решу, что делать дальше». Но вместо этого он снова пошёл

в бар. И снова напился. И снова нашёл того, кто мог дать ему что-то, чтобы забыть. Время текло мимо, как вода по сточной канаве. Эдвинас перестал замечать дни недели, перестал отвечать на звонки (хотя их и не было), перестал думать о том, что будет завтра. Завтра его не интересовало. Его интересовал только сейчас — этот короткий миг, когда мир становился чуть менее острым, чуть менее болезненным. Он вспоминал Хельгу, но не как потерянную любовь, а как часть той жизни, которая когда-то была у него. И вместо того чтобы понять, что он сам виноват в том, что не смог двигаться дальше, он убеждал себя, что всё было предрешиено. «Это судьба, — шептал он, глядя на пустую бутылку. — Я не мог ничего изменить. Так зачем пытаться?» И вот в один из таких дней, когда Эдвинас сидел в баре, уставившись в одну точку, к нему подошёл человек. Не Райли — кто-то другой, незнакомый, в дешёвом костюме, с лицом, которое казалось вылепленным из воска. — Ты Пятс? — спросил он. Эдвинас кивнул, не особо интересуясь. — Райли хочет видеть тебя. Сегодня. В полдень. У старого склада на углу Пятой и Мартина. С этими словами мужчина развернулся и ушёл, оставив Эдвинаса одного с этой новостью, которая вдруг показалась ему тяжёлой, как камень. Он посмотрел на часы — стрелки показывали почти одиннадцать. Полдень. У склада. «Ладно, — подумал он, пытаясь собраться с мыслями. — Отнесу стрекозу. Возьму деньги. А потом... потом снова забуду обо всём». Он поднялся, шатаясь, вышел на улицу и вдохнул сырой воздух Браунсвилла. На секунду ему показалось, что мир стал чуть более чётким, чуть более реальным. Но потом туман снова опустился, и Эдвинас пошёл вперёд, не зная, что ждёт его у старого склада — и не особо желая это знать. Старый склад пах ржавчиной, мокрым бетоном и той особой тишиной, которая бывает только в местах, где давно никто не живёт. Эдвинас шёл туда не потому, что хотел — он шёл, потому что в кармане лежала коробочка, а в голове крутилась одна мысль: «Ещё двадцать пять тысяч. Ещё один кусок, который можно схватить и спрятать, пока мир не вырвал его обратно». Райли стоял у полуразбитого окна, спиной к улице, в своём неизменном плаще и шляпе. Трость постукивала по полу — раз, два, пауза. Он будто отбивал ритм чьих-то похорон. Когда Эдвинас вошёл, Райли не обернулся сразу. Он смотрел на дождь, который стекал по стеклу, как слёзы по старому лицу. — Принёс? — спросил Райли, не поворачиваясь. Голос был спокойный, почти скучающий, будто он спрашивал про сдачу в магазине. Эдвинас молча вытащил коробочку, щёлкнул замком, открыл. Внутри стрекоза сверкнула изумрудами — холодно, бездушно, как насмешка. — Вот. Твоя стрекоза, — буркнул Эдвинас, протягивая её. — Давай деньги. Райли наконец повернулся. В его глазах мелькнуло что-то — не радость, не удовлетворение, а скорее усталость человека, который слишком долго смотрит на одни и те же ошибки. Он взял коробочку, повертел её в пальцах, потом усмехнулся — тихо, без веселья. — Ты даже не понял, что держал в руках, да, Пятс? — сказал он. — Ты думал, это просто вещь. А это был урок. Ты нашёл стрекозу — и должен был понять, что всё это время носил Хельгу не в сердце, а в кармане, как тяжёлый груз, который мешает дышать. Эдвинас поморщился, будто от запаха тухлой рыбы. — Уроки... — он фыркнул, поправляя воротник куртки. — Мне не нужны твои уроки. Мне нужны деньги. Вот и всё. Райли покачал головой, будто разговаривал с упрямым ребёнком, который отказывается видеть очевидное. — А если я скажу, что деньги — это не награда, а приманка? Что ты уже попался, и теперь должен идти до конца? — Да хоть как называй, — огрызнулся Эдвинас. — Главное, что они настоящие. И я их возьму. Райли снова усмехнулся, открыл коробочку, посмотрел на стрекозу, потом закрыл и положил в карман. — Знаешь, Пятс, — сказал он, — есть вещи дороже денег. Воспоминания, которые ты прячешь. Чувства, которые ты топчешь. Возможность всё исправить, пока ещё не поздно. — Ага, — процедил Эдвинас. — И ещё воздух дороже денег. Но я не за воздухом сюда пришёл. Давай деньги. Райли помолчал, будто взвешивая что-то в уме. Потом достал из внутреннего кармана пачку купюр, протянул её. — Держи. Двадцать пять тысяч. Как договаривались. Эдвинас схватил деньги, сунул в карман так быстро, будто боялся, что их отберут. Пальцы дрожали, но не от волнения — от предвкушения. Он уже знал, куда их

потратит: в баре, на бутылку, на дым, на то, чтобы на пару часов забыть, кто он и где он. — И это всё? — спросил он. — Мы закончили? Райли медленно покачал головой. — Нет, Пятс. Мы не закончили. Я предлагаю тебе выход. Прямо сейчас. Можешь забрать деньги, уйти и забыть обо всём. О записной книжке, о часах, о фотографии, о карусели. Я не буду тебя преследовать. Эдвинас замер. В груди шевельнулось что-то похожее на облегчение. «Вот оно, — подумал он. — Просто уйти. Просто выпить. Просто жить дальше, как жил». Но потом он вспомнил, как Браун смотрел на него, как Скалински кричал, как мир каждый день напоминал ему, что он никто. И тут же внутри вспыхнула злость — горячая, пьяная, сладкая. — Нет, — резко сказал он, сам удивляясь своей твёрдости. — Я закончу. Я найду всё. И эту карусель. И получу столько, сколько пожелаю. Райли долго смотрел на него — так, будто пытался разглядеть что-то за этой бравадой, за этим дешёвым упрямством. Потом медленно кивнул. — Хорошо, Пятс. Ты сам это выбрал. Но запомни: я больше не предложу тебе выйти. С этого момента ты идёшь до конца. Найди записную книжку, старые часы, фотографию — и ту самую пятую карусель. Только за неё ты получишь столько, сколько пожелаешь. Но помни: цена может оказаться выше, чем ты думаешь. Цена — это деньги, — усмехнулся Эдвинас. — Остальное — болтовня. Райли ничего не ответил. Он просто повернулся и пошёл прочь, стуча тростью по бетонному полу. У двери он остановился, не оборачиваясь. — Есть вещи дороже денег, Пятс, — тихо произнёс он. — Но ты поймёшь это, когда будет слишком поздно. И вышел, оставив Эдвинаса одного в этом холодном, пустом складе, с пачкой денег в кармане и чувством, будто он только что выиграл спор, хотя на самом деле проиграл что-то важное. На улице дождь уже почти закончился, но воздух был тяжёлым, мокрым, будто сам город не хотел отпускать эту серость. Эдвинас шёл к бару, сжимая в кармане деньги, и повторял про себя: «Плывать. Плывать на всё. Главное — деньги. Главное — сейчас». В баре было шумно, душно и привычно. Знакомый бармен кивнул, не спрашивая, что налить. Перед Эдвинасом тут же появилась бутылка и стакан. Он налил, выпил, налил снова. В голове шумело, но это был хороший шум — тот, который заглушал все остальные голоса. Он вспоминал слова Райли — эти загадки, эти намёки на какие-то уроки, на что-то большее. И смеялся. Смех получался хриплым, горьким, но он смеялся. — Чокнутый старик, — бормотал он, глядя в стакан. — Сумасшедший. Болтает про вещи дороже денег... Да что он знает? Что он знает про мою жизнь? Он пил и думал, что теперь он свободен. Теперь у него есть деньги, и он может делать что хочет. Может пойти куда хочет. Может забыть обо всём — хотя бы на эти две недели, пока деньги не кончатся. А потом... потом будет видно. Он достал из кармана пачку купюр, пересчитал их, будто проверяя, настоящие ли они. Двадцать пять тысяч. Целая жизнь для кого-то. А для него — просто способ заглушить боль ещё на какое-то время. — За Хельгу, — прошептал он, поднимая стакан. — Прости, что я такой. Прости, что не смог быть другим. И выпил. Время текло мимо, как вода по сточной канаве. Эдвинас не замечал, как темнело, как пустел бар, как бармен начинал смотреть на него с тревогой. Он просто пил, курил и думал о том, что, может быть, впервые в жизни он действительно сам себе хозяин. Пусть это была иллюзия, пусть она держалась на одной бутылке и пачке денег — но она была его. Когда он наконец вышел из бара, ночь уже накрыла город плотным чёрным покрывалом. Он шёл по улице, шатаясь, и шептал себе под нос: Я найду эту карусель. Я найду все эти вещи. И получу столько, сколько пожелаю. И тогда... тогда пусть весь этот мир знает, кто я такой. Но в глубине души он понимал: он не ищет карусель. Он ищет способ забыть. Способ заглушить ту пустоту, которая жила внутри него уже много лет. И пока у него были деньги и бутылка, он мог притворяться, что всё в порядке. Бар «У Джима» пах пролитым пивом, дешёвым табаком и усталостью, вьёвшейся в стены, как копоть. Эдвинас сидел на том же стуле, что и вчера, и позавчера — будто если он не встанет, мир не сможет его окончательно раздавить. Перед ним стояла бутылка, почти пустая, и стакан, который он то и дело протирали пальцем, стирая невидимую грязь. Он уже не пил ради вкуса — он пил, чтобы не слышать собственный голос

внутри. И тут появилась Саика. Она двигалась по залу так, будто несла в себе тишину — лёгкую, хрупкую, которую в этом баре все давно растеряли. Белая рубашка, застёгнутая до самого верха, тёмные волосы, собранные в простой узел, глаза — спокойные, будто она знала какой-то секрет и не собиралась его никому выдавать. Эдвинас смотрел, как она наливает кому-то кофе, как улыбается, не разжимая губ, и вдруг почувствовал что-то странное — не желание, не похоть, а укол, будто кто-то ткнул его в самое живое место, которое он считал мёртвым. Ещё? — спросила она, остановившись у его стола. Голос у неё был тихий, но в нём слышалась сталь — не злость, а привычка держаться ровно, когда всё вокруг качается. Эдвинас хмыкнул, подвинул стакан. — Да. И не смотри на меня так, будто я вот-вот рассыплюсь. Я не смотрю, — спокойно сказала Саика, наливая. — Я просто вижу, что ты уже третий день сидишь тут и пьёшь, будто это твоя работа. Он хотел огрызнуться — привычно, грубо, чтобы она ушла и не смотрела на него этими своими глазами. Но слова застряли. Вместо этого он спросил: — А ты? Ты тут работаешь, потому что это твоя мечта? Саика чуть приподняла бровь — не насмешливо, а будто оценивая, стоит ли вообще отвечать пьяному мужику. Потом пожала плечами. — Нет. Я работаю тут, потому что мне нужны деньги. И потому что здесь тихо. Не так тихо, как дома, но достаточно, чтобы не сойти с ума. — Ты из Японии? — спросил он, цепляясь за эту обыденность, как за поручень. Да. Приехала десять лет назад. Думала, будет как в кино: огни, свобода, новая жизнь. А оказалось — просто другой город, где я тоже не знаю, куда идти. Эдвинас фыркнул, но в этот раз без злости. — Знакомо. Так началось. Не с признания, не с комплиментов — с этих коротких, неловких фраз, которые они бросали друг другу, как камешки через лужу, проверяя, есть ли дно. Саика не льстила ему, не пыталась его спасти — она просто была рядом, когда он сидел, уставившись в одну точку, и когда начинал бормотать что-то про Хельгу, про карусель, про Райли, который, наверное, и правда дьявол. Однажды ночью, когда бар уже закрылся, а они остались вдвоём — она мыла стаканы, он курил у окна, — он вдруг сказал: — Знаешь, я ведь ничего не стою. Никак. Я только и умею, что портить всё, к чему прикасаюсь. Саика посмотрела на него долго, будто пыталась разглядеть что-то за этой горечью. — Ты говоришь так, будто это приговор. А мне кажется, это просто усталость. — Усталость? — он горько усмехнулся. — Это не усталость. Это я. Но она не спорила. Просто подошла, забрала у него сигарету, затушила в пепельнице и сказала: — Иди домой. Или хотя бы поспи. Завтра будет новый день. И он пошёл. Не потому что хотел — потому что она так сказала. А потом всё смешалось. Дни стали похожи на обрывки плёнки: он просыпался, не помня, как добрался до кровати, шёл в бар, находил Саику, и на несколько минут мир переставал быть таким острым. Она не пыталась его переделать — она просто не давала ему упасть. Иногда он срывался: грубил, злился, швырял слова, как камни, проверяя, уйдёт ли она. Но она оставалась. Смотрела на него спокойно, будто знала: буря пройдёт, а он останется. В один из вечеров, когда он был особенно пьян, она сказала: — Ты думаешь, что ты сломан. Но я вижу, что в тебе ещё есть свет. Просто он прячется за всеми этими бутылками. — Не надо, — процедил он, отводя взгляд. — Не надо меня чинить. Я не хочу быть чьим-то проектом. — Я и не чиню, — тихо ответила она. — Я просто сижу рядом. И этого оказалось достаточно, чтобы он в какой-то момент, посреди пьяного бреда, вдруг обнял её — не как женщину, а как якорь. И она не оттолкнула. Она просто прижала его к себе, гладила по спине, шептала что-то на японском — слова, которых он не понимал, но которые звучали как обещание: «Ты не один». Потом был секс — не красивый, не романтический, а грязный, настоящий, как сама жизнь: скомканные простыни, запах табака и чего-то сладкого, что было только у неё, хриплые слова, которые он шептал, сам не веря, что способен на нежность. После он лежал, глядя в потолок, и думал: «Я не заслужил этого. Я не заслужил её». А она лежала рядом, положив голову ему на плечо, и дышала ровно, будто всё было правильно. Утром он проснулся первым. В комнате было серо, как всегда, но на подушке лежала её заколка — простая, деревянная, с вырезанным цветком. Он взял её, повертел в пальцах, и впервые за долгое время ему стало стыдно. Не за

то, что он пьян, не за то, что грубил — а за то, что тянет её в свою грязь. Прости, — прошептал он, хотя её не было рядом. — Прости, что я такой. Но потом он вспомнил про деньги. Про Райли. Про карусель. И эта мысль, как холодная вода, смыла всю нежность. «У меня есть цель, — твердил он себе, натягивая рубашку. — У меня есть деньги. Я найду эти вещи. Я получу столько, сколько пожелаю. И тогда...» Он не знал, что будет «тогда». Но он цеплялся за эту цель, как за спасательный круг, даже если круг был из ржавого железа. Каждый раз, когда он приносил Саике кофе или цветок — дешёвый, увядающий, — она улыбалась, и в этой улыбке было что-то, от чего ему становилось больно. Он хотел верить, что может быть другим. Но каждый вечер он снова шёл в бар, снова пил, снова шептал: «Ещё немного. Ещё чуть-чуть. Пока не найду карусель». А Хельга не отпускала. Она стояла где-то на краю сознания, тихая, печальная, и шептала: «Ты всё ещё держишь меня». И он кивал, сам себе, в темноте. Да, он держал. Он не мог отпустить — потому что если он отпустит, то останется только он: пьяный, потерянный, цепляющийся за деньги, как за смысл жизни. Однажды Саика сказала: — Я вижу, как ты борешься. Но ты борешься не с тем. Ты борешься с собой. — А с чем мне ещё бороться? — огрызнулся он. — Мир уже победил. — Тогда позволь мне быть на твоей стороне, — просто сказала она. — Даже если ты не веришь, что можешь выиграть. И он кивнул. Потому что не знал, что ещё сказать. Время шло, а карусель не находилась. Эдвинас всё глубже погружался в свой угар: деньги таяли, опиум становился привычкой, а не спасением. Он всё чаще забывал, зачем он это делает, и помнил только одно: «Найти. Получить. Доказать». Доказать кому — он не знал. А Саика всё пыталась его вытащить. Она приносила ему еду, когда он забывал есть. Она забирала у него ключи, когда он хотел сесть за руль. Она сидела рядом, когда он кричал, что ненавидит весь мир. И в какой-то момент он понял: она не ждёт, что он станет героем. Она просто хочет, чтобы он остался живым. Но он не мог остановиться. Потому что боялся, что если остановится, то услышит тишину. А в этой тишине будет только Хельга. И его вина. И его одиночество. — Я не могу, — шептал он, когда Саика пыталась увести его домой. — Мне нужно найти карусель. Мне нужно закончить. — Зачем? — спрашивала она, глядя ему прямо в глаза. — Зачем тебе эта карусель? Потому что... — он замолкал, не находя слов. Потому что это его шанс. Потому что это его долг. Потому что он не знает, как жить дальше, если не будет этой цели. И она кивала. Не потому что понимала. А потому что любила. Записная книжка нашлась в самом неподходящем месте — в ящике стола у старого книготорговца, который клялся, что не помнит, как она туда попала. Страницы пожелтели, чернила выцвели, но имена, адреса и обрывки фраз всё ещё читались, будто прошлое не хотело окончательно стираться. Эдвинас провёл пальцем по строчкам, и на секунду его накрыло не воспоминанием, а ощущением: вот оно, то самое чувство, когда ты сидишь в пустой комнате, смотришь на часы и понимаешь, что до зарплаты ещё неделя, а в холодильнике пусто. И ты ненавидишь эту работу, эту улицу, этот город — но делаешь всё равно, потому что если не сделаешь, станет ещё хуже. Он почти понял. Почти почувствовал тот самый ответ, который должен был прийти вместе с этой вещью: его жизнь стала серой не потому, что судьба его прокляла, а потому что он годами делал выбор не жить, а выживать. Он перестал мечтать, потому что мечты стоили денег, а денег не было. Он перестал надеяться, потому что надежда требовала сил, а сил не оставалось. Он просто тянул лямку, день за днём, пока от него не осталась только оболочка, которая умеет заполнять бланки и кивать начальству. Но потом он посмотрел на книжку, потом на деньги, которые можно получить за неё, и эта мысль — про выживание, про серость, про то, как он сам загнал себя в угол — растворилась, как дым в сыром воздухе Браунсвилла. Вместо этого в голове застучало: «Деньги. Ещё деньги. Ещё один шаг к тому, чтобы доказать, что я не никто». Райли ждал его на том же складе — будто не уходил оттуда вовсе, будто это место было его тенью. Он стоял у окна, трость постукивала по полу, раз-два, пауза — как метроном, отсчитывающий время, которое утекало сквозь пальцы. Принёс? — спросил Райли, не оборачиваясь. Эдвинас швырнул книжку на стол — не аккуратно, не с почтением, а так, будто избавлялся от чего-

то тяжёлого и ненужного.— Вот. Забирай. Давай деньги. Райли медленно повернулся. В его взгляде было что-то, от чего Эдвинасу на секунду стало неуютно — будто его видят насквозь, видят все его оправдания, все его слабости, все его попытки спрятаться за деньгами. Ты даже не открыл её как следует, да, Пятс? — тихо спросил Райли. — Ты не прочитал эти строки так, чтобы они тебя ударили. А ведь в ней был ещё один ответ. Ответ на вопрос, почему ты годами перебивался с копейки на копейку, почему ненавидел свою работу, почему делал её только ради денег, чтобы просто серо существовать. Ты нашёл причину своей серости — и тут же выбросил её, потому что она неудобная. Эдвинас поморщился, будто от запаха тухлой рыбы. Мне не нужны твои ответы, — процедил он. — Мне нужны деньги. Я выполнил условие. Давай плату. Райли долго смотрел на него, будто пытался разглядеть хоть искру понимания, хоть намёк на то, что слова дошли. Но видел только злость, только жадность, только желание схватить и убежать. Хорошо, Пятс, — наконец сказал он, доставая из кармана пачку купюр. — Держи. Но помни: ты снова не услышал того, что должен был услышать. Эдвинас схватил деньги, сунул в карман, пальцы дрожали — не от волнения, а от предвкушения. Он уже знал, куда их потратит: в баре, на бутылку, на дым, на то, чтобы на пару часов забыть, кто он и где он. И не думай, что это конец, — добавил Райли, голос стал жёстче, холоднее. — Время идёт. Ты должен найти часы, фотографию и ту самую карусель. И помни: за карусель ты получишь столько, сколько пожелаешь. Но цена будет выше, чем ты думаешь. Эдвинас ввалился в бар, как всегда, с кислой миной на лице. Саика, как обычно, встретила его своей вежливой улыбкой, но он лишь отмахнулся, проковылял к стойке и бухнулся на табурет. — Как всегда, Саика, — пробурчал он, доставая мятые купюры. — И налей побольше. Она молча налила, а он уже через пять минут растворился в алкогольном дыму. Часы, фотография, карусель — всё это казалось ему каким-то далёким кошмаром. Каждый раз, когда Саика пыталась завести разговор о чём-то другом, он лишь отмахивался и требовал очередную порцию. Слушай, может, хватит уже? — однажды не выдержала она. — Посмотри на себя! — А что я? — пьяно ухмыльнулся он. — Живу как умею. И не лезь ко мне со своими нравоучениями. Стакан с грохотом врезался в стену, осколки брызнули по полу, как ледяные зубы. В баре на секунду стало тихо — только где-то в углу звякнула ложка, да старый вентилятор над стойкой натужно гудел, гоняя прокуренный воздух. Я мечтал?! — заорал Эдвинас, и голос его сорвался на хрип, будто горло драли ржавой проволокой. — Да я и не помню, что там болтал! Япония, горы, сакура — всё это сказки для тех, кто ещё верит, что можно смыть с себя эту грязь! Саика стояла напротив, белая, как простыня после стирки, только в глазах — упрямая искра, которую он столько раз пытался затоптать. Она не отступила, только шагнула чуть ближе, будто надеялась, что тепло её тела пробьёт эту пьяную броню. Ты помнишь, — тихо, но твёрдо сказала она. — Ты сам мне рассказывал, как хотел увидеть Фудзи на рассвете. Как хотел просто сидеть и дышать, без этих бумажек, без Райли, без вечного «найди то, принеси это». Ты говорил, что там всё честнее. Честнее?! — он расхохотался, и смех вышел горьким, как подгоревший кофе. — Там тоже есть свои Райли, Саика! Только они говорят на другом языке! И знаешь, что самое смешное? Я впервые за десять лет чувствую себя живым не тогда, когда мечтал про Фудзи, а когда нашёл эту чёртову записную книжку. Когда деньги легли в карман, и я понял: я могу что-то сделать. Не просто перекидывать бумажки для Брауна, а найти то, что никто другой не найдёт. Часы, фото, карусель... Это не мусор, это следы, понимаешь? Он шагнул к ней, и она невольно попятилась, но тут же взяла себя в руки, расправила плечи. — Следы ведут в никуда, Эдвинас, — прошептала она. — Они ведут тебя всё глубже в эту яму. Ты говоришь, что чувствуешь себя живым, но ты сам себя ломаешь. И меня ломаешь. А я не просил тебя лезть в мою яму! — рявкнул он, и рука сама сжалась в кулак. — Я не просил стоять тут и смотреть на меня этими своими глазами, будто я ещё что-то значу! Я — ничто. Браун так и сказал: «Ты, Эдвинас, всю жизнь будешь копать в помоях, потому что больше ни на что не годен». А Райли... Райли дал мне шанс доказать, что Браун ошибается! Он тяжело дышал,

грудь ходила ходуном, а в висках стучала кровь, заглушая всё остальное.— Пятьдесят тысяч за часы и фото, — бормотал он уже тише, но с той же одержимостью. — А за карусель... за неё он заплатит столько, сколько я попрошу. И тогда я пошлю к чёрту и Брауна, и этот Браунсвилл, и все эти бумажки. Куплю билет, уеду... куда-нибудь, где не надо никому ничего доказывать. Саика покачала головой, и по щеке скользнула одинокая слеза, которую она тут же смахнула, будто стыдилась этой слабости.— Ты не уедешь, — сказала она, и в её голосе не было упрека, только страшная, выжженная усталость. — Потому что ты не веришь, что достоин этого. Ты думаешь, что эти деньги — твой единственный билет, но они просто ещё одна петля на шее. Эдвинас застыл, словно её слова ударили сильнее, чем любой крик. Он смотрел на неё, и в мутной пелене алкоголя вдруг проступило что-то ясное и болезненное — понимание того, сколько раз он отталкивал её, сколько раз делал вид, что ему всё равно, хотя именно её тихий голос был единственным, что ещё удерживало его от полного падения. И в этот момент, когда в нём будто что-то надломилось, он резко выбросил руку вперёд — не для удара, а чтобы схватить её за плечо, удержать, не дать уйти. Но движение вышло резким, неуклюжим, и он слишком сильно сжал пальцы. Саика поморщилась, не от боли, а от того, как нелепо и горько это выглядело — будто он хотел удержать её, но умел только ломать.— Прости, — выдохнул он, отпуская её так же резко, как схватил. — Прости... я не хотел. Но слова прозвучали жалко, как мелочь, звякнувшая на грязном полу. Саика молча кивнула, вытерла глаза и, не глядя на него, пошла к подсобке. А Эдвинас остался стоять посреди бара, чувствуя, как эта пустота внутри становится всё больше, и понимая, что каждый раз, когда он кричит «я найду», он на самом деле всё дальше теряет то единственное, что стоило искать. Старая «Опель» хрипела, как загнанная лошадь, пока Эдвинас выворачивал руль, едва удерживая машину на прямой. Улица плыла перед глазами — фонари размазывались в жёлтые кляксы, витрины моргали, будто насмехались. Он не думал, куда едет, — просто ноги сами толкнули его к участку, туда, где всё началось и, казалось, должно было закончиться. Кабинет Брауна пахнул сигарами, старым потом и виски — тяжёлой, маслянистой смесью, от которой у Эдвинаса заныли зубы. Браун сидел за столом, развалившись, будто весь Браунсвилл был его личным креслом. В зубах — дымящаяся сигара, в руке — стакан с янтарной жидкостью. Он даже не поднял глаз, когда дверь с грохотом распахнулась и в проёме, цепляясь за косяк, появился Эдвинас. Ну-ка, глянь, кто пожаловал, — процедил Браун, наконец поднимая взгляд. — Пятс собственной персоной. Месяц не появлялся, а теперь явился, как чёрт из табакерки. И, судя по роже, опять налился до чёртиков. Эдвинас шагнул внутрь, и пол будто качнулся под ним. Он хотел сказать что-то резкое, но слова путались, как нитки в старом клубке.— Я... я не твой клоп, Браун, — выговорил он, голос звучал хрипло, будто его горло обдирали наждачкой. — Не твоя пешка. Я сам по себе. Браун фыркнул, выпустил густое облако дыма и откинулся на спинку кресла.— Сам по себе? Ха. Ты, Пятс, без меня — ноль. Пустое место. Ты и сам это знаешь, просто гордость не даёт признать. А ещё говорят, у тебя подружка появилась, японка какая-то... Саика, да? Ну, тебе просто повезло, что она вообще на тебя смотрит. Но и она поймёт, кто ты есть. Просрешь её, как когда-то Хельгу. Имя Хельги ударило по вискам, как молотком. Эдвинас побледнел, хотя лицо его и так было серым, как мокрый бетон.— Не смей, — прошептал он, но голос сорвался на хрип. — Не смей её трогать. Хельга... она погибла не из-за меня. Браун расхохотался — грубо, раскатисто, будто смеялся над самой идеей, что Эдвинас может быть кем-то, кроме сломанной игрушки. Да ладно тебе, Пятс. Ты упрямый баран был тогда, упрямый и сейчас. Хельга попала в ту аварию, потому что ты не слушал никого, гнул свою линию, как будто ты один знаешь, как правильно. И теперь ты делаешь то же самое. Только теперь вместо Хельги у тебя эта девчонка из бара, которая смотрит на тебя, как на героя, а ты её ломаешь по кусочкам. Заткнись! — рявкнул Эдвинас, и голос его прогремел, как выстрел в тесном помещении. — Я не твой пёс, чтобы ты меня воспитывал! Я больше не буду сидеть тут и перебирать бумажки, пока ты куришь свои сигары

и чувствуешь себя королём этого города! Он шагнул вперёд, и в этом движении было столько ярости, что даже Браун на секунду замер, будто впервые увидел в этом пьяном, изломанном человеке что-то опасное. — Ты сдохнешь без меня, Пятс, — спокойно, но с угрозой произнёс Браун, хотя в его глазах мелькнула тень беспокойства. — Ты ничего не стоишь. Ни как коп, ни как человек. Эдвинас рассмеялся — коротко, горько, без капли веселья. Он сунул руку в карман, вытащил пачку купюр — тех самых, от Райли, — и швырнул их прямо на стол. Деньги разлетелись, как осенние листья, некоторые упали на пол. Вот, — прохрипел он. — Это твоя цена. Я не твой. Я ничей. Затем он схватил со стола стакан Брауна, одним глотком допил остатки виски, чувствуя, как огонь обжигает горло, и швырнул пустой стакан на пол — тот разбился с резким звоном, который, казалось, отразился от каждой стены участка. Рука сама потянулась к кобуре. Он не целился, не угрожал — просто выхватил пистолет и положил его на стол, дулом к Брауну, как вызов, как последнюю черту. Браун побледнел. Его хвастливая уверенность вдруг осыпалась, как пепел с сигары. Он замер, пальцы вцепились в подлокотники кресла, и на мгновение он перестал быть всемогущим начальником — стал просто толстым, напуганным мужчиной, который вдруг понял, что перед ним стоит человек, которому нечего терять. Ты... ты что творишь, Пятс? — голос Брауна звучал непривычно тихо, без прежней бравады. Эдвинас наклонился вперёд, опираясь руками о стол, и его лицо оказалось в опасной близости от лица Брауна. — Я говорю, что больше не твой. Ни твой, ни Райли, ни этого города. Я найду эти часы, это фото, эту чёртову карусель, и когда я получу деньги, я уйду. И никто меня не остановит. Браун медленно выдохнул, будто из него разом выпустили весь воздух. Он посмотрел на Эдвинаса долгим, тяжёлым взглядом, в котором уже не было насмешки — только усталость и что-то похожее на сожаление. Ты пропадаешь, Пятс, — тихо, но твёрдо произнёс он. — Ты уже пропадаешь. Попомни мои слова. Ты думаешь, что идёшь вперёд, а на самом деле ты падаешь. И когда ты ударишься о дно, рядом не будет никого, кто протянет руку. Ни Саики, ни Хельги, ни меня. Только ты и эта твоя проклятая карусель. Эдвинас выпрямился, тяжело дыша. Пистолет он не убрал, но и не поднял — просто оставил лежать на столе, как символ того, что игра изменилась. — Посмотрим, — процедил он, отступая к двери. — Посмотрим, кто кого. Он развернулся и вышел, хлопнув дверью так, что стёкла в коридоре задребезжали. А Браун остался сидеть в своём кабинете, сжимая подлокотники, глядя на разбросанные деньги и разбитый стакан, и впервые за долгие годы чувствуя, что потерял контроль над чем-то важным. Опель» дотасился до дома, как хромая собака — скрежетал, вздыхал, будто просил пощады. Эдвинас вывалился из машины, едва не рухнув на шербатый асфальт. В голове стучало одно: часы. Часы, фото, карусель. Остальное — мусор, шелуха, которую можно смести ногой. В квартире пахло затхлостью и дешёвым табаком. Он не включал свет — в темноте было проще не видеть, во что всё превратилось. Первым полетел стул — с глухим треском врезался в стену. Потом — полка, книги, какие-то папки с делами, которые он когда-то считал важными. Он раскидывал всё это по полу, будто искал среди хлама ту самую нить, которая приведёт к часам. На столе появилась карта города, исчерканная ручкой. Он ставил крестики, соединял точки, бормотал себе под нос: «Старый вокзал... ломбард у реки... подвал под аптекой... там кто-то что-то видел». Слова сливались в бессвязный гул, но он цеплялся за них, как за спасательный трос. Неделя растворилась в дыму и бутылках. Дни и ночи перемешались. Он почти не спал — только курил, пил, чертил линии, которые тут же перечёркивал. Саика звонила — он сбрасывал. Пару раз она стучала в дверь — он молчал, прижавшись спиной к косяку, чувствуя, как внутри всё сжимается от её голоса, от того, как она звала его по имени, будто ещё верила, что он там, внутри, живой. А потом алкоголь перестал брать. Это было хуже всего. Он наливал стакан, глотал, ждал привычного тепла, которое растекается по венам и стирает края мира, — а вместо этого чувствовал только горечь и пустоту. И эта пустота была громче любого крика. Он поехал за опиумом — туда, где не задают вопросов, где принимают деньги и дают то, что заглушит эту звенящую тишину. Место было грязным,

тесным, пахло мочой и страхом. Он взял дозу, не глядя, и ушёл в какой-то заброшенный угол, где бетон был холодным, а воздух — тяжёлым. И вот тогда его накрыло. Не волна облегчения, а лавина воспоминаний, которые он столько лет пытался утопить. Таллин. Узкие улицы, покрытые мокрым снегом. Бабушка Клавдия — строгая, прямая, с седыми волосами, туго стянутыми в пучок. Она говорила: «Эдвинас, ты должен быть лучше, чем этот город». Полицейская академия — запах мела и пота, ощущение, что впереди целая жизнь, полная смысла. Хельга — её смех, звонкий, как разбитое стекло, её руки, тёплые даже в самый лютый мороз. Они спорили из-за пустяков, он всегда был упрямым, всегда считал, что знает лучше. А потом — авария. Лёд, визг тормозов, тишина, которая наступила слишком быстро. И чувство вины, тяжёлое, как свинцовый плащ, которое он так и не смог снять. Он лежал, скрючившись, в собственной блевотине, и эти воспоминания били его, как кулаки. Он понимал: нужно встать, нужно идти вперёд, Саика — его шанс, его единственное спасение. Но прошлое держало его крепче любых цепей, тянуло вниз, заставляло снова и снова прокручивать те моменты, где он всё испортил. Когда Саика нашла его, он уже почти не соображал. Она вошла, не спрашивая разрешения, не стуча — просто открыла дверь своим ключом, который он сам когда-то отдал ей, когда ещё верил, что кому-то можно доверять. Она увидела его — грязного, трясущегося, окружённого осколками и пеплом — и не закричала, не стала обвинять. Вместо этого она опустилась на колени рядом с ним, намочила полотенце в раковине и начала вытирать его лицо, убирая грязь, пот, остатки этой ночи. Ты не там, Эдвинас, — тихо сказала она, и голос её был твёрдым, без слёз, без упрёков. — Ты здесь. Со мной. И ты не должен тонуть в том, что уже случилось. Ты должен жить тем, что есть сейчас. Он хотел что-то сказать — оправдаться, отмахнуться, снова швырнуть в неё грубость, чтобы она ушла и не видела его таким. Но слова застряли в горле. Вместо этого он сжал её руку, крепко, до побелевших костяшек, будто она была единственной вещью в этом мире, которая не разваливалась на части. Прости, — прошептал он, и это слово прозвучало непривычно, как что-то забытое, выученное заново. — Прости, что я... что я делаю с тобой. Саика не ответила сразу. Она просто продолжала держать его руку, позволяя ему цепляться за неё, пока дрожь понемногу уходила. Потом она помогла ему подняться, повела в ванную, смыла с него эту грязь — не только физическую, но и ту, что въелась под кожу за эти дни. Мы не поедем в Японию сегодня, — сказала она, когда он, чистый, но всё ещё слабый, сел на край кровати. — Но мы можем начать с того, чтобы ты просто перестал разрушать себя. И меня. Договорились? Он кивнул, не поднимая глаз. В груди всё ещё гудело от воспоминаний, от вины, от страха, но рядом с ней эта боль становилась чуть тише. Не исчезала — но переставала быть единственной вещью, которую он чувствовал. — Я попробую, — хрипло выдавил он. — Я... попробую не тянуть тебя за собой. Саика села рядом, не слишком близко, но достаточно, чтобы он чувствовал её тепло. Она не обещала чудес, не говорила, что всё будет хорошо. Просто была здесь. И этого пока хватало. Утро в квартире Эдвинаса пахло горелым кофе и отчаянием. Он сидел на краю дивана, смотрел на свои трясущиеся руки и думал, что вот сейчас — прямо сейчас — всё встанет на свои места. Ещё пара дней, он соберёт себя по кускам, перестанет быть этим ходячим мусором. В груди даже шевельнулось что-то похожее на надежду — тусклое, как лампочка в подъезде, но всё-таки свет. Он набрал Саику. Голос у него был хриплый, но спокойный: — Я... я в порядке. Ну, почти. Давай встретимся. Я не буду грубить, не буду срываться. Просто посидим, попьем кофе, как раньше. Она помолчала секунду — он слышал её дыхание, тихое, настороженное, будто она боялась спугнуть этот редкий момент. Хорошо, — сказала она. — В нашем кафе, в три. Я буду ждать. Он положил трубку и впервые за долгое время не потянулся к бутылке. Вместо этого умылся, побрился, надел чистую рубашку. И на мгновение ему показалось, что он снова человек, а не тень, которая только и умеет, что ломать всё вокруг. Но в три он не пришёл. В два тридцать на пороге его квартиры возник мистер Райли — седой, прямой, с лицом, будто высеченным из старого камня. В руках он держал потрёпанный конверт. Вижу, ты решил стать хорошим мальчиком,

— сухо усмехнулся он. — Не трать время. Часы не найдут сами себя. Эдвинас хотел было возразить, сказать, что у него дела, что он обещал Саике, но слова застряли в горле. Райли протянул ему конверт. Внутри — старая фотография: угол улицы в Таллине, знакомая арка, вывеска ломбарда, которой уже нет лет двадцать. На обороте — корявая надпись: «Помни, где ты начинал». Это подсказка, — сказал Райли, глядя на него жёстко, без сочувствия. — Часы связаны с твоим прошлым. С тем, что ты так старательно забываешь. Выведи из этого урок, Эдвинас. Иначе карусель тебя не отпустит. Какая ещё карусель? — процедил Эдвинас, чувствуя, как внутри снова поднимается привычная злость — удобная, тёплая, как старый свитер. — Мне нужны деньги. Дайте мне координаты, и я найду эти часы. Райли покачал головой: Так не работает. Ты должен сам сложить пазл. И помни: пятая карусель — это не просто вещь. Это цена, которую ты платишь за всё, что сделал. Эдвинас скомкал фотографию, сунул в карман и вышел из квартиры, не глядя на Райли. В голове стучало: деньги, деньги, ещё немного — и он сможет всё исправить. Или хотя бы перестать чувствовать эту пустоту. Саика ждала в кафе. Она заказала два кофе, поставила чашку напротив себя, будто он вот-вот появится. Когда стрелки часов перевалили за четыре, она поняла, что он не придёт. Её лицо не дрогнуло, только в глазах мелькнуло что-то, похожее на усталость, которую не смыть ни слезами, ни временем. А Эдвинас уже сидел в баре, где всё было знакомо и просто: дым, тусклый свет, бармен, который не задаёт лишних вопросов. Он заказал двойной виски и уставился на фотографию, пытаясь выцепить из неё хоть какой-то смысл. Таллин, бабушка Клавдия, академия, Хельга — всё это казалось теперь не воспоминаниями, а чужими кадрами из старого фильма. Когда Саика появилась в дверях, он даже не сразу её заметил. Она подошла, села напротив, положила руки на стол — тонкие, хрупкие, но в них была сила, которой у него уже не осталось. — Ты опять, — тихо сказала она. — Опять выбрал это вместо нас. Он хотел сказать что-то хорошее, извиниться, пообещать, что это в последний раз. Но вместо этого из него вырвалось: Не надо, Саика. Я мёртвый, понимаешь? В меня уже ничего не вдохнуть. Я просто пытаюсь дотянуть до конца, забрать эти деньги и исчезнуть. Тебе лучше держаться от меня подальше. Она побледнела, но не заплакала. Только кивнула, будто услышала то, что давно ждала, но всё равно надеялась не услышать. Ты думаешь, ты мёртвый, — прошептала она. — А ты просто боишься жить. Боишься, что если ты вспомнишь Хельгу, вспомнишь бабушку, вспомнишь, кем ты хотел быть, — тебе придётся признать, что ты всё это потерял. Но я здесь. Я живая. И я могу помочь тебе вспомнить. Он рассмеялся — коротко, горько, как кашляют в мороз: — Помочь? Чем? Своей верой в меня? Да я её только ломаю. Уходи, Саика. Пожалуйста. Пока я не сделал тебе ещё больнее. Она встала, медленно, будто каждое движение давалось ей с трудом. На секунду задержалась у стола, посмотрела на него так, что ему захотелось провалиться сквозь пол. — Я уйду, — сказала она тихо. — Но не потому, что ты прав. А потому, что я не могу спасти того, кто не хочет быть спасённым. И ушла. Дверь хлопнула, и в баре стало вдруг слишком тихо, будто весь мир затаил дыхание, ожидая, что Эдвинас сейчас вскочит, побежит за ней, скажет, что всё не так. Но он только допил виски, швырнул на стол купюру и вышел на улицу, где ветер хлестал по лицу, напоминая, что жизнь продолжается, даже если ты изо всех сил стараешься её не замечать. Следующие дни слились в один длинный, грязный кошмар. Райли появлялся то тут, то там — в переулке, у ломбарда, на вокзале, — и каждый раз давал новую подсказку, всё больше завязанную на прошлом Эдвинаса: старую квитанцию из академии, билет на поезд до Таллина, записку от бабушки Клавдии, которую он когда-то спрятал и забыл. — Выведи урок, — повторял Райли. — Пока не поймёшь, что связывает всё это, часы не найти. Но Эдвинас не хотел уроков. Он хотел денег. Он хватал подсказки, как голодный хватает куски хлеба, и бросал их в сумку, не читая, не чувствуя. Однажды вечером, снова пьяный, он наткнулся на Саику у входа в бар. Она не смотрела на него, просто стояла, куталась в пальто, будто пыталась спрятаться от всего мира. — Саика, — хрипло позвал он. — Прости. Я... я не знаю, что со мной. Она подняла глаза, и в

них не было ни злости, ни обиды — только глубокая, выжженная усталость. Хватит, Эдви́нас, — сказала она спокойно, почти равнодушно. — Ты извиняешься, а потом делаешь то же самое. Я устала быть твоей спасательной верёвкой, когда ты каждый раз её перерезаешь. Он шагнул к ней, хотел схватить за руку, удержать, но она отступила. — Не надо, — прошептала она. — Просто иди ищи свои часы. И свою карусель. Может, они тебя и правда спасут. Он ушёл. Ушёл, не оглядываясь, чувствуя, как с каждым шагом что-то внутри него окончательно ломается. В голове крутились слова Райли про пятую карусель, про цену, про то, что всё связано. Но он не хотел думать о связях. Он хотел закончить это. Получить деньги. Исчезнуть. Ночью, в полумраке заброшенного склада, где, по наводке Райли, могли быть часы, Эдви́нас наконец нашёл их — старые, тяжёлые, покрытые пылью, с треснувшим стеклом. Он поднял их, повертел в руках, и на секунду ему показалось, что время остановилось. Что если он сейчас вернётся к Саике, скажет, что понял, что готов меняться, — всё ещё можно исправить. Но вместо этого он достал телефон, набрал Райли и глухо произнёс: — Я нашёл. Где забирать деньги? Райли ответил не сразу. Когда голос прозвучал в трубке, в нём не было ни радости, ни удивления — только холодная уверенность: — Приходи завтра. И помни: за карусель ты получишь столько, сколько пожелаешь. Но цена будет выше, чем ты думаешь. Эдви́нас положил телефон, сжал в руке часы и почувствовал, как прошлое, настоящее и будущее сходятся в одной точке — точке, где он снова выбирает деньги вместо любви, вместо спасения, вместо себя самого. И в этот момент он понял: карусель уже крутится. И остановить её он не сможет, даже если очень захочет. Старый парк пах мокрой листвой и дешёвым табаком — будто сам город выдохнул эту сырую горечь прямо на скамейки. Эдви́нас шатался между деревьями, как пьяный призрак, и всё никак не мог поверить, что Саика вот так просто берёт и уезжает. Через два дня. Без него. Как будто её жизнь не крутилась вокруг его сломанных дней, как будто она не пыталась каждый вечер собрать его по кусочкам, даже когда он швырял эти кусочки ей в лицо. Он догнал её у старой арки, где ржавые чугунные завитки уже давно потеряли всякий смысл, а просто висели, как забытая декорация к чьей-то чужой драме. Саика, — прохрипел он, хватая воздух, будто только что вынырнул из ледяной воды. — Стой. Я... я не знаю, как это сказать, но я люблю тебя. Она остановилась, не поворачиваясь сразу. Потом медленно обернулась, и в её глазах не было ни радости, ни восторга — только усталость, такая глубокая, что Эдви́насу захотелось провалиться сквозь землю. Ты говоришь это, когда тебе больно, — тихо сказала она. — Когда тебе страшно остаться одному. Но это не любовь, Эдв. Это паника. — Нет, — он шагнул ближе, схватил её за руки, пальцы впились в тонкую ткань рукава. — Это правда. Я не верю сам себе, но это правда. Не уезжай. Останься. Дай мне ещё один шанс. Она смотрела на него долго, будто пыталась разглядеть того парня, которого когда-то увидела в этом грязном, злом, потерянном человеке. Потом вздохнула — так, будто из неё выкачали весь воздух. — Тогда поехали со мной, — сказала она, голос дрогнул, но она удержала его. — Прямо сейчас. Бросим всё. Я справлюсь, я могу работать. Мы не пропадём. Просто скажи, что ты готов уйти отсюда. Не на неделю, не «пока не станет плохо», а навсегда. Он замер. В голове щёлкнуло — не сердце, не совесть, а что-то холодное, расчётливое. Пятая карусель. Деньги. Свобода, которую можно потрогать, пересчитать, положить в карман. Не надежда, а купюры. — Я не могу, — прошептал он, и слово вышло чужим, будто кто-то другой произнёс его за него. — Я почти нашёл её, Саика. Почти. Ещё чуть-чуть, и я получу столько, что мы сможем... Что мы сможем? — перебила она, и впервые в её голосе прорезалась злость — острая, как битое стекло. — Жить на эти деньги? Пока ты снова не променяешь их на бутылку? Пока не решишь, что ещё одна подсказка важнее меня? Он хотел возразить, но тут подошёл фотограф — какой-то суетливый тип с потрёпанной камерой, будто сошедший с дешёвой открытки. Эй, ребята, — бодро сказал он. — Отличный кадр. На фоне парка, вот тут, где свет ложится. Сфотографирую на память, недорого. Эдви́нас хотел послать его, рявкнуть, чтобы отвалил, но Саика вдруг кивнула. Она подошла, встала рядом, прижалась к нему, как будто пыталась удержать хоть

что-то настоящее в этом рассыпающемся дне. Он обнял её — машинально, неловко, пальцы дрожали. Фотограф щёлкнул, вспышка резанула по глазам, и на секунду мир стал ярким, почти красивым. Фотограф протянул снимок — маленький прямоугольник, где они выглядели почти счастливыми. Эдвинас взял его, посмотрел и тут же сунул в карман, будто боялся, что если подержит дольше, то поймёт, что только что потерял. Поехали, — снова прошептала Саика, прижимаясь к нему, голос её был тихим, но упрямым. — Завтра. Прямо с утра. Просто скажи «да». И тут его переклинило. Не любовь, не раскаяние, а какая-то дикая, слепая ярость на самого себя — за то, что стоит тут, трясётся, позволяет ей решать за него, за то, что почти поверил, будто может быть другим. Хватит! — рявкнул он, отталкивая её так резко, что она пошатнулась. — Хватит спасать меня! Я не хочу, чтобы ты меня тащила! Я сам разберусь! У меня есть дело, есть деньги, есть эта чёртова карусель, и я её найду! Саика побледнела, но не заплакала — слёзы пришли потом, когда она поняла, что кричать бесполезно. — Ты не разбираешься, — спокойно, почти без интонаций сказала она. — Ты просто бежишь. И ты всегда будешь бежать, Эдвинас. Даже если у тебя будут все деньги мира. Он не слушал. Он уже снова был там — в лабиринте подсказок, в погоне за следующей цифрой, за следующим куском пазла, который, как ему казалось, сделает его целым. — Уходи, — процедил он, отворачиваясь, будто она была просто помехой на пути. — Просто уходи. Мне не нужно твоё спасение. Она постояла ещё секунду, глядя на него так, что ему захотелось зажмуриться. Потом развернулась и пошла прочь, по мокрой аллее, где лужи отражали серое небо, как разбитые зеркала. — Прощай, Эдви, — тихо бросила она через плечо, голос дрожал, но держался. Мы как стрекозы. А стрекозы летят, не зная куда. Просто летят — на свободу. Он стоял и смотрел, как она уходит, и только когда её силуэт растворился в сумерках, понял, что натворил. Но вместо того чтобы побежать за ней, вместо того чтобы крикнуть «стой, я передумал», он развернулся и побрёл к своей старой «Опели», которая хрипела и кашляла, как больной старик. В машине пахло пылью и отчаянием. Он завёл двигатель, фары выхватили из темноты пустую аллею, по которой только что ушла Саика. Эдвинас вдавил педаль газа, покрышки взвизгнули, и машина рванула вперёд, оставляя за собой только грязь и пыль. А в кармане у него лежал тот самый снимок — маленький, помятый, где они ещё были кем-то друг для друга. Он не доставал его. Не хотел видеть. Потому что знал: если посмотрит — поймёт, что продал эту картинку за обещание денег, за призрачную свободу, которая на самом деле была просто ещё одной клеткой. Город мелькал за окнами — неоновые вывески, мокрые тротуары, чужие лица, которым не было до него никакого дела. Эдвинас гнал, будто пытался обогнать самого себя, но каждый перекрёсток, каждый светофор только возвращали его обратно — к тому, кем он был: пьяницей, наркоманом, эгоистом, который только что отпустил единственное, что могло его спасти. И где-то в глубине, под слоем злости и самообмана, царапалась одна мысль: «А что, если она права? Что, если я просто бегу? И что, если однажды мне некуда будет бежать?» Но он не останавливался. Потому что остановиться значило почувствовать эту пустоту. А он уже столько лет учился её не чувствовать. В квартире было темно, как в чулане у мертвеца. Эдвинас сидел на продавленном диване, в одной руке — початая бутылка, в другой — тот самый снимок из парка. На нём они с Саикой выглядели почти счастливыми. Почти живыми. Он смотрел на фото до тех пор, пока черты её лица не начали расплываться, сливаясь с пятнами света и тени, будто сама реальность пыталась стереть её из этого кадра. Он убеждал себя, что всё правильно. Карусель почти у него в руках. Ещё немного — и он получит столько денег, что сможет купить себе новую жизнь. Или хотя бы новую бутылку, которая заглушит этот скребущий звук внутри. Он повторял это, как заклинание, но слова падали в пустоту и не отзывались ничем, кроме горечи. Телефон зазвонил так резко, что Эдвинас едва не выронил его. На экране — имя Брауна. Он хотел сбросить, послать всё к чёрту, но что-то в этом звонке было не так. Слишком настойчиво. Слишком... отчаянно. Да, — прохрипел он, и собственный голос показался ему чужим, ломким. — Пятс, — голос Брауна звучал непривычно тихо, без привычной бравады и

яда. — Срочно в старый парк. Сейчас. Я не твоя псина, ублюдок, — машинально огрызнулся Эдвинас, цепляясь за привычную злость, как за спасательный круг. Заткнись, — оборвал его Браун, и в этом «заткнись» не было приказа — была усталость, смешанная с чем-то похожим на страх. — Это касается тебя. Твоя подружка, Саика. Слова ударили по вискам, как молотком. Эдвинас вскочил, и стакан с виски, который он держал, выскользнул из пальцев и разбился о пол. Янтарная жидкость растеклась по грязному линолеуму, как кровь. Он даже не заметил. Пистолет он схватил на автомате — старая привычка, когда мир становится слишком опасным. Пальцы дрожали, но движения были резкими, отточенными годами. Он вылетел из квартиры, не закрыв дверь, не выключив свет, не думая ни о чём, кроме того, что Саика в беде. «Опель» летел по ночным улицам, фары выхватывали из темноты мокрые тротуары, пустые скамейки, чужие, равнодушные окна. Эдвинас гнал, как одержимый, и каждый километр отдавался в груди тупой болью, будто кто-то сжимал сердце железной рукой. В парке было шумно, но этот шум был мёртвым — суетливым, бессмысленным. Полицейские фонари резали темноту, люди в форме ходили туда-сюда, кто-то кричал команды, кто-то держал толпу на расстоянии. Эдвинас прорвался сквозь оцепление, его пытались остановить, но он не слышал слов, только собственное дыхание, тяжёлое, рваное. Браун стоял чуть в стороне, не в центре событий, а как будто на обочине собственной власти. Он выглядел старше, чем обычно, — просто уставшим пятидесятипятiletним мужчиной, который вдруг понял, что его власть ничего не стоит перед лицом настоящей беды. Когда Эдвинас подбежал, Браун не стал орать, не стал унижать. Он просто положил руку ему на плечо — тяжело, по-отцовски, хотя никогда не был ему отцом. — Прости, Пятс, — тихо сказал он. — Часом раньше — и её бы спасли. И тут Эдвинас увидел её. Хрупкое, неподвижное тело на сырой земле, прикрытое чьей-то курткой, из-под которой виднелся край её пальто — того самого, в котором она всегда куталась, будто пыталась спрятаться от этого города. Мир рухнул. Он рухнул не с грохотом, а с тихим, страшным щелчком, после которого всё стало другим. Эдвинас упал на колени, схватил её за руки — они были холодными, слишком холодными, как будто жизнь ушла из них задолго до того, как он сюда добрался. — Нет, — прошептал он, а потом закричал, и этот крик был таким диким, что даже полицейские на секунду замерли. — Нет, Саика, нет! Прости! Я всё исправлю, я всё верну, только не уходи! Его пытались оттащить, говорили что-то про шок, про то, что он ничего не может сделать, но он не слушал. В голове билось только одно: он сам её толкнул. Сам прогнал. Сам выбрал карусель, деньги, эту проклятую свободу, которая оказалась просто дырой, в которую он падал всё это время. Это я виноват! — орал он, глядя на Брауна, на полицейских, на весь этот равнодушный мир. — Я её выгнал! Я сказал ей уйти! Браун смотрел на него с той же усталой печалью, будто видел, как человек сгорает дотла прямо у него на глазах. — Её хотели ограбить, — сказал он тихо, чтобы Эдвинас услышал сквозь собственный крик. — Но взять было нечего. Один билет до Токио, сто баксов и записка. Записка. Эдвинас схватил её, как утопающий хватается за соломинку. На мятом клочке бумаги — адрес в Таллине, пирс, встреча вечером в семь. Ничего больше. Но этого хватило, чтобы в его голове щёлкнуло что-то страшное, ледяное. Таллин. Пирс. Семь вечера. Это был не билет в новую жизнь. Это была ниточка к пятой карусели. К той самой, за которую Райли обещал столько, сколько Эдвинас пожелает. Саика должна была стать частью этого пазла. Она должна была привести его туда. А он прогнал её. Он сам отдал её в руки этой проклятой карусели. Гнев ударил по нему, как разряд тока. Он выхватил пистолет, не целясь, просто чувствуя, как эта ярость ищет выход. Выстрелы прогремели в тишине парка, эхом отразившись от деревьев, от пустых скамеек, от всего этого мёртвого города. Кто-то закричал, кто-то бросился на него, и мир сузился до ощущения чужих рук, которые валят его на землю, до холодного металла наручников, до темноты, которая накрыла его, как тяжёлое одеяло. Последнее, что он увидел, прежде чем сознание померкло, — это лицо Брауна. В нём не было ни злорадства, ни торжества. Только та же бесконечная усталость и слова, которые врезались в память, как клеймо: — Ты сам себя загнал в эту яму,

Пятс. И теперь ты в ней по самую шею. А где-то на краю сознания, в той части, что ещё могла чувствовать, царапалась одна мысль, тихая и страшная: «Мы как стрекозы... летят, не зная куда... на свободу». Только Саика улетела без него. А он остался здесь — в грязи, в крови, в этой проклятой карусели, которая наконец-то его поймала. Ночь в психушке пахла хлоркой и чужим страхом — густым, липким, въедающимся в кожу. Палата была тесной, с решётками на окнах и дверью, которая щёлкала, как капкан. Эдвинас не спал. Он вообще не думал о сне. В голове стучало только одно: пирс, семь вечера, Райли. И Саика — её голос, её слова: «Мы как стрекозы... летят, не зная куда». Он сбежал так же, как делал всё в своей жизни — грубо, без изыска, на чистом адреналине. Санитар зашёл проверить, не сдох ли он от ломки, — Эдвинас ударил его краем подноса, выхватил ключи, выскользнул по коридору, где лампы мигали, как нервные импульсы. На улице его встретил холодный ветер, который будто смыл с него остатки дурмана. Он не чувствовал ни вины, ни страха — только пустоту, тяжёлую, как свинец, и эту пустоту нужно было чем-то заполнить. Хотя бы мстью. Квартира встретила его тишиной и запахом разбитого стекла. Он не стал наводить порядок. Просто схватил сумку, швырнул туда пару рубашек, деньги, запасной пистолет — старый, тяжёлый, с потёртой рукоятью, который он держал «на крайний случай». Теперь этот случай наступил. В аэропорту было шумно, суетливо, все куда-то спешили, будто от скорости зависела их жизнь. Эдвинас стоял у стойки, пальцы сжимали паспорт, а в голове крутилась одна мысль: «Я опоздал с Саикой, но не опоздаю с Райли». Билет до Таллина лёг в карман, как приговор. Он даже не посмотрел на цену. Деньги теперь казались пылью — бесполезной, невесомой. Телефон зазвонил, когда он уже шёл к выходу на посадку. Номер был незнакомым, но голос он узнал сразу — сухой, спокойный, будто Райли сидел не на другом конце линии, а прямо у него за плечом. Жду на пирсе. Семь вечера. Не опаздывай, Эдвинас. И тишина. Ни прощания, ни намёка на угрозу. Просто факт, как приговор суда. Таллин встретил его серым небом и запахом моря — солёным, резким, будто город пытался смыть с него всю эту грязь. Пирс был пустынным, только ветер гулял между ржавых свай, и волны бились о бетон, как уставшее сердце. Эдвинас шёл по доскам, чувствуя, как они скрипят под ногами, будто предупреждают: «Не ходи дальше. Здесь ничего хорошего нет». Райли стоял у самого края, спиной к воде, прямой, неподвижный, как статуя, которую поставили здесь сто лет назад. Он не обернулся, когда Эдвинас подошёл. Просто стоял и смотрел на горизонт, где небо сливалось с морем в одну серую полосу. — Почему здесь? — хрипло спросил Эдвинас, голос звучал чужим, будто кто-то другой говорил за него. — Почему на этом пирсе? Райли медленно повернулся. В его глазах не было ни злорадства, ни торжества — только холодная усталость, как у человека, который слишком долго носил чужую боль. Здесь всё началось, — спокойно ответил он. — Ты приехал сюда молодым, полным надежд. Ты хотел быть кем-то. А потом ты начал терять себя, кусочек за кусочком. И я был рядом, чтобы напоминать тебе, кем ты перестал быть. Эдвинас сжал кулаки, пальцы побелели от напряжения. Кто ты, мать твою? — процедил он, и в этом вопросе не было бравады — только отчаяние, которое рвалось наружу. — Почему Саика погибла? Я нашёл всё, что ты хотел. Часы, книжку, стрекозу... Райли усмехнулся — коротко, без веселья. — Ты искал вещи. Деньги. Ты думал, что это спасёт тебя. Но ты искал ответы. И ты их получил. Просто не захотел услышать. — Зачем ты её убил? — голос Эдвинаса сорвался на хрип. — Она была ни при чём. Она просто любила меня. Райли шагнул ближе, и на секунду Эдвинасу показалось, что он видит в нём не человека, а что-то древнее, тёмное, что живёт в каждом из нас — наши страхи, наши сожаления, нашу совесть. — Я не убивал её, — тихо, но твёрдо сказал Райли. — Ты сам её убил. Своей слепотой. Своей гордостью. Своим нежеланием видеть, что у тебя есть шанс. — Какой шанс? — Эдвинас рассмеялся, но смех вышел горьким, как пепел. — У меня не было шансов. Только долги, бутылки и эта проклятая карусель. Шанс был, — спокойно возразил Райли. — Саика. Она любила тебя по-настоящему. Не за то, кем ты был, а за то, что в тебе ещё оставалось живого. Но ты не смог это принять. Ты предпочитал

гнаться за призраками Он замолчал, и над пирсом повисла тишина, нарушаемая только шумом волн и криком чаек. Потом Райли снова заговорил, и голос его звучал теперь не как голос врага, а как голос того, кто слишком долго пытался достучаться:— Стрекоза — это Хельга. Ты держал её в себе двадцать три года, как якорь, который не давал тебе плыть дальше. Записная книжка — это твоё убеждение, что все вокруг виноваты, что мир к тебе несправедлив. Часы — это время, которое я тебе дал. Два месяца. Два месяца, чтобы остановиться, оглянуться, начать всё заново. А Саика... она была твоим шансом начать с чистого листа. Уехать, забыть, стать другим. Но ты выбрал карусель. Эдвинас почувствовал, как земля уходит из-под ног.— А фото? — прошептал он. — Что за фото? Ты говорил, оно важно. Райли снова усмехнулся, но в этот раз в его улыбке не было ни яда, ни насмешки — только печаль.— Достань его из кармана, Эдвинас. Рука сама потянулась к внутреннему карману куртки. Пальцы нащупали смятый прямоугольник — тот самый снимок из парка, где они с Саикой обнимались, где на секунду оба выглядели почти счастливыми. Эдвинас вытащил его, посмотрел, и мир будто сжался до этого маленького кадра. Это твой якорь теперь, — тихо сказал Райли. — Раньше им была Хельга, потом — твои обиды, твои неудачи. А теперь — это фото. Ты мог бы смотреть на него в рамке, рядом с ней. Мог бы видеть, как ты умеешь быть счастливым, даже если всего на миг. Но теперь это свинцовое сердце для тебя. Потому что ты сам выбрал не жить этим счастьем. Ты выбрал гоняться за каруселью, которая никогда не остановится. Эдвинас опустил руку, фото осталось зажатым в пальцах, как единственное, что ещё связывало его с чем-то настоящим.— Я не хотел, — прошептал он, и слова прозвучали жалко, как оправдание, которое никто не хочет слышать. — Я просто... я не знал, как остановиться.— Теперь знаешь, — сказал Райли, и в его голосе не было ни осуждения, ни жалости — только констатация факта. — Но цена оказалась выше, чем ты думал. Ветер усилился, швырнув в лицо горсть солёных брызг. Райли сделал шаг назад, к краю пирса, и на мгновение Эдвинасу показалось, что он сейчас исчезнет, растворится в сером воздухе, как призрак, который пришёл только для того, чтобы сказать правду, которую никто не хочет слышать. Что теперь? — глухо спросил Эдвинас, глядя на фото, которое уже начало размокать от брызг. — Что мне делать? Райли пожал плечами — просто, буднично, как человек, который уже сказал всё, что должен был. — Теперь ты живёшь с этим. С тем, что ты потерял. С тем, что ты сам разрушил. И если в тебе осталось хоть что-то живое — ты попытаешься не потерять остальное. И он ушёл. Просто развернулся и пошёл вдоль пирса, растворяясь в сумерках, пока его фигура не стала просто тёмным пятном на фоне серого моря. Эдвинас остался стоять один, с мокрым фото в руке, чувствуя, как солёный ветер сушит слёзы, которых он не замечал. Карусель остановилась. Но он так и не успел с ней сойти. Теперь ему предстояло идти дальше — с этим свинцовым сердцем, с этой правдой, с этим одиночеством, которое стало его единственной спутницей. И где-то в глубине души он понимал: Саика была права. Они как стрекозы — летят, не зная куда. Только она улетела на свободу. А он остался здесь — держать в руках то, что уже нельзя вернуть. Пирс скрипел под ногами, как старая кровать в дешёвом мотеле — будто сам город вздыхал, устав от чужих драм. Каспар стоял, сжимая в пальцах то самое фото — уже не снимок, а мокрый комочек бумаги, где лица почти стёрлись, размытые дождём и его собственными слезами. Он смотрел на него, будто пытался выпечить из этой серой каши хоть один чёткий контур — улыбку Саики, изгиб её плеча, тот миг, когда они были кем-то друг для друга. А потом он рухнул на колени, прямо на сырые доски, не чувствуя ни холода, ни заноз, ни того, как ветер рвёт рубашку.— Прости, — хрипел он, и голос ломался, как сухая ветка. — Прости, Саика. Я был слепым. Я был трусом. Я гнался за чем-то, чего даже не понимал, а ты... ты просто хотела, чтобы я остался. Просто остался с тобой. Он сжимал фото, будто мог вернуть её одним усилием воли, одним отчаянным желанием, чтобы этот кадр снова стал реальностью. Но бумага только крошилась в пальцах, превращаясь в серую пыль. Я всё испортил, — шептал он, а потом вдруг закричал, швыряя в темноту слова, как камни. — Я всё сломал! Я не видел, не хотел видеть!

Ты была моим шансом, а я её растоптал! Он поднялся — тяжело, будто каждое движение давалось через боль, которая теперь стала его единственной спутницей. Рука сама потянулась к револьверу. Холодный металл обжёг пальцы, но это было хоть какое-то чувство — настоящее, грубое, без прикрас. Он поднял ствол, прицелился в море — не в волны, не в горизонт, а в ту бесконечную пустоту, которая теперь жила внутри него. И выстрелил. Бах. Первый выстрел ушёл в воду, подняв фонтан брызг, будто море даже не заметило удара. Бах. Бах. Бах. Ещё три. Каждый — как удар по собственному сердцу, как попытка выбить из себя эту боль, сделать её внешней, видимой, чтобы она наконец перестала грызть изнутри. Когда прозвучал четвёртый выстрел, эхо ещё гуляло между сваями, а Каспар замер, прислушиваясь к тишине, которая вдруг стала оглушительной. Он открыл барабан. Пять гнёзд. Четыре пустые. В пятом — патрон. Один. Последний. Каспар смотрел на него долго, будто это был не кусок свинца и пороха, а вся его жизнь, сжатая в одном маленьком цилиндре. Потом он улыбнулся — криво, горько, как улыбаются люди, которые наконец-то поняли что-то важное, но слишком поздно. Прости, Саика, — тихо сказал он, глядя в даль, где Балтийское море сливалось с небом в одну серую полосу. — Я буду любить тебя вечно. Даже если это всё, что у меня осталось. Он приставил ствол к виску. Металл был холодным, твёрдым, настоящим — в отличие от всего остального, что он строил годами. Палец лёг на курок. В голове мелькнуло: «Мы как стрекозы... летят, не зная куда...» Только теперь он понял, что Саика говорила не о свободе. Она говорила о хрупкости. О том, что жизнь — это миг, который легко упустить, если смотреть не туда. Курок щёлкнул. И в этот момент мир взорвался оранжевым светом. Не вспышкой, не огнём — а чем-то огромным, круглым, вращающимся, как гигантская карусель, только теперь она не кружила — она поглощала. Оранжевые спицы, яркие флажки, музыка, которой не было слышно, но которая вибрировала в груди, как последний удар сердца. Карусель накрыла его, закружила, втянула в себя, как воронка втягивает воду, и на секунду ему показалось, что он снова на том самом снимке — молодой, пьяный, но живой, и Саика рядом, смеётся, пряча лицо от ветра. А потом всё стихло. Пирс остался пустым — просто кусок дерева и ржавого металла, брошенный между небом и водой. Только мокрые доски по-прежнему скрипели на ветру — будто сами пытались что-то вспомнить, да не могли. Волны тихо бились о сваи, неторопливо, буднично, как будто и не было тут никакой трагедии — просто ещё один вечер, ещё одна ночь, ещё один человек, который не справился. Фото лежало у самого края, почти растворившееся в воде. Края размокли, цвета стёрлись, и теперь это был уже не снимок, а просто серый лоскуток, похожий на обрывок сна, который утром никак не удаётся удержать в памяти. Ветер подцепил его, покружил немного, будто раздумывал, унести или оставить, и наконец швырнул в воду. Волна приняла его без злобы, без торжественности — просто накрыла и утянула вниз, туда, где всё становится одинаковым. Пятый патрон так и остался в барабане — одинокий, ненужный, лишний, как всё, за что Эдвинас когда-то цеплялся. Как деньги, которые он так и не успел потратить. Как карусель, которая в итоге оказалась просто старой, облупившейся декорацией. Как слова, которые он не сказал вовремя. Балтийское море продолжало катиться к берегу — равнодушное, вечное, слишком большое, чтобы хранить чьи-то ошибки. Оно знало: карусели приходят и уходят, вспыхивают яркими огнями, кружат головы, а потом рассыпаются на щепки. А море остаётся. Оно помнит только приливы и отливы, только ветер и соль, только то, что не ломается от человеческих надежд и разочарований. Где-то далеко, в городе, зажглись огни — жёлтые, тусклые, будто кто-то неловко пытался отогнать темноту. По улицам шли люди: одни спешили домой, другие просто шли, потому что стоять на месте было страшнее. Никто из них не знал про Эдвинаса. Никто не остановился, не обернулся, не почувствовал, что в эту самую минуту где-то на пирсе оборвалась ещё одна жизнь — не громко, не героически, а тихо, почти незаметно, как гаснет свеча на сквозняке. И только чайка, севшая на сваю, склонила голову, будто прислушиваясь к чему-то, чего больше никто не слышал. Потом она взмахнула крыльями и улетела — туда, где ветер сильнее, а небо шире, туда, где можно просто лететь, не

оглядываясь. А море всё так же катилось к берегу, и в его шуме, если очень постараться, можно было расслышать что-то похожее на прощание. Или на прощание. Или просто на тишину, которая приходит, когда всё уже сказано.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.